

Артур Конан Дойл Письма Старка Монро

Письмо первое

Гом, 30 марта 1881 г.

Я сильно чувствую ваше отсутствие, дорогой Берти, с тех пор, как вы вернулись в Америку, так как вы единственный человек в мире, с которым я могу говорить по душам, ничего не скрывая.

Помните ли вы в университете Колингворта? Возможно, что нет, так как вы не принадлежали к кружку спортсменов. По крайней мере, я думаю, что нет, а потому расскажу вам все по порядку.

Физически он был настоящий атлет, рослый — примерно пять футов девять дюймов, — плечи косая сажень, грудь колесом, быстрая походка. Большая квадратная голова, черные, жесткие, как щетина, коротко обстриженные волосы. Лицо отменно безобразное, но тем характерным безобразием, которое привлекает, как красота. Угловатые, резко выдающиеся челюсти и брови, нос крючком, красноватый, маленькие светло-голубые глаза, то безоблачно-веселые, то злые. Прибавьте к этому, что он редко надевал воротнички или галстук, что шея его была цвета сосновой коры, а голос и в особенности смех напоминали рев быка. В таком случае вы будете иметь понятие (если можете мысленно соединить эти черты в цельный образ) о внешности Джэмса Колингворта.

Но все-таки самое замечательное в нем, это «внутренний человек». Если гений заключается в способности достигать, в силу какого-то инстинкта, результатов, коих другие люди добиваются только упорным трудом, то Колингворт положительно величайший гений, какого только я знал. По-видимому, он никогда не работал и тем не менее взял премию по анатомии, отбив ее у тружеников, корпящих над работой с утра до вечера. Но это, пожалуй, еще ничего не доказывает, так как он был вполне способен лениться напоясь весь день, а ночи проводить над книгами. Но заведите с ним разговор на хорошо знакомую вам тему, и вы немедленно убедитесь в его оригинальности и силе. Заговорите о торпедах, — он схватит карандаш и мигом начертит вам на обрывке старого конверта какое-нибудь новое приспособление, способное разнести корабль вдребезги, — приспособление, в котором без сомнения может оказаться что-нибудь технически неосуществимое, но которое не уступит другим в остроумии и новизне. Вы подумаете, что единственная цель его жизни изобретать торпеды. Но если, минуто спустя, вы выразите удивление, как ухитрялись египетские работники поднимать камни на вершину пирамид, — карандаш и старый конверт снова являются на сцену, и он с той же энергией и убеждением объяснит вам способ подъема камней. Эта изобретательность соединялась с крайне сангвинической натурой. Расхаживая взад и вперед своей быстрой, порывистой походкой, после такого проявления изобретательности, он берет на изобретение патент, принимает вас в пайщики предприятия, пускает его в ход во всех цивилизованных странах, предвидит всевозможные приложения, считает вероятные доходы, намечает новые пути для их применения, и в результате удаляется с колоссальнейшим состоянием, какое только удавалось когда-либо приобрести человеку. А вы оглушены потоком его речей, увлечены, следуете за ним по пятам, — так что испытываете почти изумление, когда внезапно снова видите себя на земле, бедным студентом, с «Физиологией» Кирха под мышкой и с капиталом, которого не хватит на обед, в кармане. Перечитав написанное, вижу, что не сумел дать вам ясного представления о дьявольской даровитости Колингворта. Взгляды его на медицину были в высшей степени революционны, но о них, если обстоятельства исполнят все, что сулят, я еще буду говорить впоследствии. С его блестящими и исключительными дарованиями, с его атлетическими рекордами, с его причудливой манерой одеваться (шляпа на затылке, голая шея), с его

громовым голосом, с его безобразной энергической наружностью он представлял самую заметную индивидуальность, какую я когда-либо знал.

Была в нем и героическая жилка. Однажды ему пришлось очутиться в таком положении, которое заставляло выбирать одно из двух: или скомпрометировать даму, или выскочить в окно третьего этажа. Не теряя ни минуты, он выскочил в окно. К счастью, упал на большой лавровый куст, а с него на мягкую от дождя садовую землю, так что отделался сотрясением и ушибами.

Он был не прочь подурачиться, но этого лучше было избегать с ним, так как никогда нельзя было сказать, чем оно кончится. Характер у него был адский. Однажды в анатомическом кабинете он вздумал бороться с товарищем, но спустя секунду улыбка сбежала с его лица, маленькие глазки загорелись бешенством, и оба покатались под стол, как грызущиеся собаки.

Воинственная сторона его характера проявлялась иногда и уместно. Помню, один известный лондонский специалист делал нам сообщение, которое то и дело перебивал какой-то субъект, сидевший в переднем ряду. Наконец, лектор обратился к аудитории. «Эти перерывы невыносимы, джентльмены, — сказал он, — прошу вас избавить меня от них». — «Придержите язык, вы, сэр, на первой скамейке», — рявкнул Колингворт своим бычачьим голосом. — «Уж не вы ли заставите меня сделать это?» — отвечал тот, бросив на него презрительный взгляд через плечо. Колингворт закрыл свою тетрадь и направился к нему, шагая по пюпитрам, к великой потехе трехсот слушателей. Когда он соскочил с последней скамейки на пол, противник нанес ему страшный удар в лицо. Тем не менее Колингворт вцепился в него, как бульдог, и выволок из аудитории. Что он с ним сделал, я не знаю, но мы слышали шум, как будто кто-нибудь высыпал бочку угля, а затем поборник закона и порядка вернулся со степенным видом человека, исполнившего свой долг. Один глаз у него походил на переспелую сливу, но мы трижды прокричали «ура» в его честь, пока он усаживался на место.

Он пил немного, но небольшая выпивка производила на него очень сильное действие. Иногда им овладевал инстинкт драчливости, иногда проповеднический, иногда комический, или они чередовались с быстротой, сбивавшей с толку его собеседников. Опынение вызывало наружу все его мелкие странности. Одной из них было то, что он мог идти или бежать совершенно прямо, но в конце концов всегда бессознательно поворачивался и шел назад.

Когда я впервые случайно познакомился с ним, он был холост. Но в конце долгих вакаций я как-то встретил его на улице, и он сообщил мне своим громовым голосом, со свойственным ему азартом, о своей женитьбе, которая только что состоялась. Он пригласил меня зайти к ним и по дороге рассказал историю своей женитьбы, экстраординарной, как все, что он делал. Я однако, не стану ее передавать вам, дорогой Берти, так как чувствую, что и без того уже разболтался.

Итак, я зашел к нему и познакомился с миссис Колингворт. Это была робкая, маленькая, миловидная сероглазая женщина, с тихим голоском и мягкими манерами. Достаточно было увидеть, какими глазами она смотрела на него, чтобы понять, что она всецело под его обаянием, и что бы он ни сделал, что бы он ни сказал, — она все найдет великолепным. Она может быть и упрямой — тихим кротким упрямством, но всегда в смысле поддержки слов и действий мужа. Все это я, конечно, уяснил себе только впоследствии, в первое же посещение она показалась мне кротчайшей женщиной, какую я когда-либо знал.

Они вели самый странный образ жизни в четырех маленьких комнатках над мелочной лавкой. Тут была кухня, спальня, гостиная и четвертая комната, которую Колингворт считал крайне нездоровым помещением и очагом заразы, хотя я уверен, что эту идею внушил ему только запах сыров, проникавший снизу. Во всяком случае, со своей обычной энергией он не только запер эту комнату, но и заклеил дверные щели, чтобы предупредить возможность распространения воображаемой заразы. Мебель была крайне скудная. В гостиной имелись

только два стула, так что когда приходил гость (кажется, я был единственный), Колингворт примащивался на грудь томов «Британского Медицинского Журнала». Как сейчас вижу, как он вскакивает с этого низкого сиденья, и мечется по комнате, рыча и размахивая руками, меж тем как жена его, сидя в уголке, безмолвно следит за ним любящими и восторженными глазами. Могли ли мы, каждый из нас троих, беспокоиться о том, где мы сидим и как мы живем, когда юность кипела в наших жилах, и души наши были воспламенены перспективами жизни? Я и теперь считаю эти цыганские вечера в бедной комнатке, среди испарений сыра, счастливейшими в моей жизни.

В конце года мы оба сдали экзамены и сделали патентованными врачами. Колингворты уехали, и я потерял их из вида, так как он гордился тем, что никогда не написал ни единого письма. Отец его имел обширную и доходную практику в Западной Шотландии, но умер несколько лет тому назад. У меня осталось смутное представление, основанное на каком-нибудь случайном замечании, что Колингворт уехал туда попытаться, не сослужит ли ему службу отцовская фамилия. Что до меня, то, как вы припомните, я начал свою практику в качестве помощника отца. Вы знаете, однако, что она дает максимум 500 фунтов в год и шансов на расширение нет. При таких условиях двоим нечего делать. Кроме того, я не могу не замечать иногда, что мои религиозные мнения задевают иногда моего милого старика. В итоге, я вижу, что во всех отношениях лучше будет мне устроиться отдельно. Я предлагал свои услуги различным компаниям в качестве корабельного врача, но и на это жалкое место с платой в сотню фунтов столько охотников, словно дело идет о должности вице-короля Индии. В большинстве случаев мне возвращали мои бумаги без всяких объяснений, что само по себе способно научить человека смирению. Конечно очень приятно жить с мамой, а мой братишка Поль презабавный малый. Я учу его боксировать, и посмотрели бы вы, как он действует своими кулачками. Сегодня вечером он хватил меня в зубы так, что мне пришлось удовольствоваться яйцами всмятку за ужином.

Все это приводит меня к настоящему положению дел и к последним новостям. Сегодня утром я получил телеграмму от Колингворта — после десятилетнего молчания. Она подана в Авонмуте — городе, где, как я подозревал, поселился Колингворт, и содержит следующее: «Приезжайте немедленно. Мне необходимо вас видеть. Колингворт». Разумеется, я еду завтра с первым поездом. Это может значить что-нибудь или ничего не значить. В глубине души я надеюсь, что Колингворт нашел для меня дело в качестве или его партнера или какое-нибудь другое. Я всегда верил, что он справится с затруднениями и устроит мою карьеру, как и свою собственную. Он знает, что если я не слишком быстр и блестящ, то упорен и положиться на меня можно.

Теперь поздно, Бerti, огонь гаснет, и я продрог, и наверно уже надоел вам своей болтовней. Итак, до следующего письма.

Письмо второе

Гом, 10 апреля 1881 г.

Когда я писал вам в последний раз, дорогой Бerti, я собирался ехать в Авонмут к Колингворту, в надежде, что он нашел для меня какое-нибудь дело. Расскажу вам подробности этой поездки.

В Авонмут мы прибыли вечером, и когда я высунул голову из окна вагона, первое, что встретили мои глаза, был Колингворт, стоявший в кружке света под газовым фонарем. Сюртук его был нараспашку, жилет расстегнут вверх, шляпа на затылке, и жесткие волосы щетинились из-под нее во все стороны. Словом, то был тот самый Колингворт, каким я его знал, за исключением того, что он носил теперь галстук. Он приветствовал меня ревом, вытащил из вагона, подхватил мой саквояж, и минуту спустя мы вместе шли по улицам.

Я, как вы можете себе представить, сгорал от нетерпения узнать, что ему от меня

понадобилось. Но так как он и не заикнулся об этом, то и я не нашел удобным спрашивать, и в течение нашего продолжительного пути мы толковали о посторонних вещах. Сначала, помнится, о футболе, а потом он перешел к изобретениям и пришел в такой азарт, что сунул мне обратно саквояж, чтобы удобнее объяснить, вычерчивая пальцем на ладони.

— Любезный Монро (в таком роде он говорил), почему теперь перестали носить латы, а? Что? Я вам скажу, почему. Потому что вес металла, способного защитить человека, который стоит на ногах, слишком велик, такую тяжесть невозможно выдержать. Но теперь люди не ведут сражение, стоя на ногах. Пехота лежит на животе, и защитить ее нетрудно. Да и сталь усовершенствовалась, Монро! Закаленная сталь! Бессемер! Бессемер! Очень хорошо. Сколько нужно, чтобы закрыть человека? Четырнадцать дюймов на двенадцать под углом, так, чтобы пуля отскочила. С одной стороны вырезка для винтовки. Вот вам, приятель, — патентованный переносной непроницаемый для пуль щит Колингворта! Вес? О, вес шестнадцать фунтов. Я определил на опыте. Каждая рота везет с собой щиты на повозках и достает их перед боем. Дайте мне двадцать тысяч хороших стрелков, и я пройду от Кале до Пекина! Представьте себе, дружище, моральный эффект! Одна сторона бьет наповал, а другая расплющивает свои пули о стальные пластинки. Никакие войска не выдержат. Нация, которая применит первой это изобретение, скрутит в бараний рог всю остальную Европу. Они все ухватятся за него, все до единой. Ну-ка, подсчитаем. Общий контингент восемь миллионов солдат. Предположим, что только половина запасается ими. Я говорю: половина, так как не хочу быть чересчур кровожадным. Это составит четыре миллиона, а я возьму четыре шиллинга на каждом щите, при продаже оптом. Каково, Монро? Около трех четвертей миллиона фунтов стерлингов, а? Как вам это нравится, приятель? Что?

Право, я верно передал стиль его разговора, только прибавьте неожиданные остановки, внезапный конфиденциальный шепот, торжествующий рев, которым он отвечал на собственные вопросы, подергиванье плечами, шлепки и жестикуляцию. Но все время ни единого слова о том, что заставило его послать телеграмму, заставившую меня приехать в Авонмут.

Конечно, я спрашивал себя, повезло ли ему или нет, хотя его веселый вид и шумный разговор достаточно ясно говорили мне, что он чувствует себя недурно. Тем не менее, я был удивлен, когда в конце тихого извилистого бульвара, по обеим сторонам которого стояли дома, окруженные садами, он свернул к одному из лучших, пройдя в ворота за железную решетку. Луна выглянула из-за тучи и осветила высокую остроконечную кровлю с шпильками на каждом углу. Нам отворил лакей в красных плюшевых штанах. Я начинал сомневаться, что успех моего друга, должно быть, колоссальный.

Когда мы сошли в столовую ужинать, миссис Колингворт дожидалась нас там. Я с сожалением заметил, что она бледна и выглядит утомленной. Как бы то ни было, мы поужинали весело, по старинному, и возбуждение мужа отразилось на ее лице, так что в конце концов мы точно перенеслись опять в маленькую комнатку, где «Медицинский Журнал» служил мебелью, вместо огромной, отделанной под дуб, увешанной картинами, комнаты. Все время, однако, ни единого слова не было сказано относительно цели моего приезда.

Когда ужин кончился, Колингворт повел меня в маленькую гостиную, где мы с ним закурили трубки, а миссис Колингворт папироску. Несколько времени он сидел молча, а затем сорвался с места, ринулся к двери и распахнул ее. Одной из его странностей было вечное подозрение, что люди подслушивают его или строят против него козни, так как, несмотря на внешнюю грубость и откровенность, в его странной и сложной натуре таилась жилка подозрительности. Убедившись, что за дверями нет никаких шпионов, он снова бросился в кресло.

— Монро, — сказал он, ткнув в меня своей трубкой, — вот, что я хотел сказать вам: я разорился дотла, безнадежно и непоправимо.

Мое кресло так и качнулось на задних ножках, и я чуть было не опрокинулся. Все мои мечты о великих результатах, которые должны были последовать для меня из моей поездки в

Авонмут, разлетелись, как карточный домик.

Да, Берти, должен сознаться: моя первая мысль была о моем собственном разочаровании, и лишь вторая о несчастьи моих друзей. Или он обладал дьявольской проницаемостью, или мое лицо говорило слишком красноречиво, так как он тотчас прибавил:

— Жалею, что разочаровал вас, дружище. Вы не того ожидали, как я вижу.

— Да, — пробормотал я, — вы меня удивили, старина. Я думал, судя по... судя по...

— Судя по этому дому, по лакею и по обстановке, — добавил он. — Они-то меня и съели... сглодали начисто, с костями и с мясом. Я пропал, дружище, если только... — тут я прочел вопрос в его глазах, — если только кто-нибудь из друзей не подпишет своего имени на клочке гербовой бумаги.

— Я не могу сделать этого, Колингворт, — сказал я. — Прискорбно отказывать другу; и если бы у меня были деньги...

— Дождитесь, пока вас попросят, Монро, — перебил он с самым свирепым выражением. — Притом, раз у вас нет ничего и никаких видов, то на что может понадобиться ваша подпись?

— Это я и желал бы знать, — сказал я, чувствуя себя немного уколотым.

— Взгляните сюда, парень, — ответил он, — видит эту кучу писем на левой стороне стола.

— Да.

— Это письма кредиторов. А видите эти документы направо. Это судебные повестки. А теперь посмотрите сюда, — он открыл маленькую конторскую книжку и показал три или четыре имени, записанные на первой странице.

— Это практика, — рявкнул он, и захохотал так, что большие вены вздулись на его лбу. Жена его тоже засмеялась так же искренно, как заплакала бы, если бы он был в плаксивом настроении.

— Таковы-то дела, Монро, — сказал он, оправившись после пароксизма смеха. — Вы, вероятно, знаете (да, конечно, я сам говорил вам об этом), что у моего отца была отличнейшая практика в Шотландии. Насколько могу судить, он был человек совершенно бездарный, но как бы то ни было, — практика у него была.

Я кивнул и затаился.

— Ну-с, он умер семь лет тому назад и практику его разобрали другие. Как бы то ни было, когда я получил диплом, то решил вернуться на старое пепелище и попытаться собрать ее снова. Я думал, что имя чего-нибудь да стоит. Но смысла не было начинать дела на скромную ногу. Никакого резона, Монро. Публика, которая являлась к нему, была богатая, для нее нужен был роскошный дом и лакей в ливрее. Не было надежды заманить их в жалкий домишко за сорок фунтов в год с неуклюжей горничной у дверей. Что же, вы думаете, я сделал? Дружище, я нанял бывший дом отца, — тот самый дом, который ему стоил пять тысяч в год, и ухлопал последние деньги на обстановку. Но — никакого прока, парень. Я не могу держаться дольше. Два несчастных случая и одна эпилепсия — двадцать два фунта, восемь шиллингов и шесть пенсов, — вот все результаты!

— Что же вы думаете делать?

— Насчет этого я жду от вас ответа. Ради него я и вызвал вас. Я всегда уважал ваше мнение, дружище, и решил, что теперь самое время узнать его.

Мне пришло в голову, что если б он осведомился о нем девять месяцев тому назад, то в том было бы больше смысла. Что же я могу сделать теперь, когда дела так запутались? Как бы то ни было, я не мог не чувствовать себя польщенным подобным отношением к моему мнению со стороны такого независимого малого, как Колингворт.

Я спросил его, сколько он должен. Оказалось, около семисот фунтов. Одна плата за наем дома составляла двести фунтов. Он уже занял денег под мебель, и у него не оставалось ничего. Конечно, я мог дать только один совет:

— Вы должны созвать ваших кредиторов, — сказал я, — они увидят, что вы молоды и

энергичны, и рано или поздно добьетесь успеха. Если они поставят вас в безвыходное положение, то ничего не выиграют. Растолкуйте им это. Если же начнете где-нибудь новое дело, и будете иметь успех, вы расплатитесь с ними полностью. Я не вижу другого исхода.

— Я знал, что вы это скажете: это самое и я думал. Не правда ли, Гетти? Итак, решено; очень обязан вам за ваш совет, и баста об этом деле, на сегодня довольно. Я выстрелил и промахнулся. В следующий раз попаду, и этого не придется долго ждать.

Неудача, по-видимому, не слишком угнетала его, так как минуту спустя он орал так же весело, как раньше. Принесли виски и кипятка, так как мы все хотели выпить за успех второй попытки.

Виски сыграл с нами довольно скверную шутку. Колингворт, выпив стакана два, дождался, пока жена его ушла к себе, а затем пустился в рассуждения о том, как трудно ему практиковаться в физических упражнениях теперь, когда приходится по целым дням сидеть дома в ожидании пациентов. Это привело нас к обсуждению способов устроить физические упражнения дома и к вопросу о боксе. Колингворт достал из буфета две пары перчаток и предложил поупражняться.

Не будь я глуп, Берти, я бы ни за что не согласился. Но одна из моих слабостей та, что будь это мужчина или женщина, всякий намек на вызов раздражает меня. А ведь я знал и рассказывал вам в последнем письме, что за характер у Колингворта. Тем не менее, мы отодвинули стол, поставили лампу на высокую подставку и стали в позу.

Взглянув ему в лицо, я почуял злой умысел. Глаза его светились злобой. Вероятно мой отказ дать подпись раздражил его. Во всяком случае он выглядел опасным, с своим нахмуренным лицом, слегка подавшимся вперед, опущенными к бедрам руками (его манера боксировать, как и все, что он делал, была своеобразна) и выдающимися, как у бульдога, челюстями.

Он ринулся на меня, нанося удары обеими руками и хрюкая, как боров, при каждом ударе. По всему, что я видел, он был вовсе не боксер, но чертовски стойкий и упорный боец. Я отбивался обеими руками с минуту, но наконец был притиснут вплотную к двери. Он не остановился, хотя видел, что мне нельзя свободно действовать, и нанес правой рукой удар, который выбил бы меня в столовую, если б я не увернулся и не выскочил снова на середину комнаты.

— Послушайте, Колингворт, — сказал я, — это плохая игра.

— Да, мои удары довольно тяжелы, правда?

— Если вы будете сверлить меня таким образом, мне придется сбить вас с ног, — сказал я. — Будем биться по правилам. Не успел я договорить эти слова, как он бросился на меня с быстротой стрелы. Я снова увернулся, но комната была маленькая, а он подвижен как кошка, так что не было возможности отделаться от него. При новом натиске я поскользнулся и не успел опомниться, как он засветил мне в ухо правой рукой. Я споткнулся о скамейку, а он повторил удар, так что в голове у меня загудело. Он был как нельзя более доволен собой, и, отскочив на середину комнаты, выпячивал грудь и похлопывал по ней ладонями.

— Вы скажете, когда с вас будет довольно, Монро, — сказал он.

Это было довольно нахально, если принять в расчет, что я был дюйма на два выше его ростом, на несколько стоунов тяжелее и вдобавок хороший боксер. Его энергия и размеры комнаты были против меня, но я решил, что постараюсь не дать ему перевеса в следующей схватке.

Он снова ринулся на меня, вертя кулаками на манер ветряной мельницы. Но на этот раз я был настороже. Я нанес ему удар левой рукой в переносье, а затем, нырнув под его левую руку, хватил его сбоку правой по челюсти, так что он растянулся на каминном коврик. В ту же минуту он вскочил как бесноватый.

— Свинья! — зарычал он. — Скидывайте рукавицы, будем драться в настоящую. — Он начал расстегивать перчатки.

— Перестаньте, осел вы эдакий! — отвечал я. — Из-за чего драться?

Он обезумел от бешенства и бросил перчатки под стол.

— Ей-богу, Монро, — крикнул он, — если вы не снимете рукавиц, я все равно нападу на вас!

— Выпейте стакан содовой воды, — сказал я.

— Вы боитесь меня, Монро. Вот в чем дело, — прорычал он.

Это было слишком, Берти. Я понимал всю нелепость этого столкновения. Тем не менее, я сбросил перчатки, и думаю, что это, пожалуй, было самое благоразумное с моей стороны. Если Колингворт вообразил, что он имеет преимущество над вами, то вам, пожалуй, придется пожалеть об этом.

Однако наша маленькая ссора была прекращена в самом начале. Миссис Колингворт вошла в комнату в эту самую минуту и вскрикнула при виде своего супруга. Из носа у него струилась кровь, и подбородок был весь залит кровью, так что я не удивляюсь ее испугу.

— Джемс! — воскликнула она, а затем, обратившись ко мне: — Что это значит, мистер Монро?

В ее кротких словах слышалась ненависть. Меня подмывало схватить ее и поцеловать.

— Мы немножко поупражнялись в боксе, миссис Колингворт, — сказал я. — Ваш супруг жаловался, что ему совсем не приходится упражняться.

— Не беспокойся, Гетти, — сказал он, надевая сюртук. — Не будь дурочкой. Что, прислуга уже вся улеглась? Ну, принеси же мне воды в тазу из кухни. Садитесь, Монро, и закуривайте трубку.

Так кончилась наша схватка, и конец вечера прошел мирно. Но, как бы то ни было, его женушка всегда будет видеть во мне зверя и чудовище; что же касается Колингворта, — ну, я затрудняюсь сказать, что думает Колингворт об этой истории.

На следующий день перед отъездом я провел часа два с Колингвортом в кабинете, где он принимает больных. Он был в ударе, и придумывал десятки способов, какими я мог бы помочь ему. Главная его забота была видеть свое имя в газетах. Это, по его соображениям, было основой всех успехов. Мне казалось, что он смешивал причину со следствием, но я не стал спорить. Я хохотал до колик в боку над его курьезными выдумками: я упаду в обморок, сострадательная толпа принесет меня к нему, тем временем слуга отнесет в газету заметку; затем я умираю — так-таки совсем испускаю дух — и вскоре вся Шотландия узнает, что доктор Колингворт из Авонмута воскресил меня. Его изобретательный ум на тысячи ладов переворачивал эту идею, и поток этих полусерьезных выдумок совсем изгнал из его мыслей неизбежное банкротство.

Но он переставал смеяться, скрежетал зубами, и с ругательствами метался по комнате всякий раз, когда видел пациента, направляющегося к подъезду Скарעדэля, его соседа напротив. Скарעדэль имел хорошую практику и принимал больных у себя от десяти до двенадцати, так что мне то и дело приходилось видеть, как Колингворт вскакивал со стула и кидался к окну. Он определял болезнь, и высчитывал, сколько денег она могла доставить.

— Вот! — внезапно вскрикивал он. — Видите того господина, что прихрамывает. Каждое утро является. Перемещение полулунной связки, три месяца возни! Тридцать пять шиллингов в неделю. А вон еще. Повесьте меня, если это не та самая женщина с сочленовным ревматизмом. Просто с ума сойдешь, глядя, как они валят к этому человеку. Да и что за человек! Вы не видали его. Тем лучше для вас... Не понимаю, какого черта вы смеетесь, Монро. Мне не до смеху.

Да, как ни кратковременна была эта поездка в Авонмут, но я буду помнить ее всю жизнь. Я уехал после полудня, и Колингворт на прощанье уверял меня, что пригласит своих кредиторов, как я советовал, и через несколько дней уведомит меня о результате. Миссис неохотно подала мне руку, когда я прощался с ней; мне это в ней нравится. Очевидно, в нем должно быть много хорошего, иначе он не мог бы завоевать такую любовь и доверие с ее стороны. Быть может за его грубой оболочкой скрывается другой Колингворт — мягкий, нежный человек, который может любить и возбуждать любовь. Если да, то я никогда близко не подходил к нему настоящему. Но, может быть, я имел дело только с оболочкой. Кто знает? Вероятно и он никогда не имел дела с подлинным Джонни Монро. Но вы имеете с

ним дело, Берти; и я думаю он порядком надоел вам в этот раз, хотя вы сами поощряете меня к болтовне своими сочувственными ответами.

Письмо третье

Гом, 1 декабря 1881 г.

Вы помните, дорогой Берти, что в последнем письме я сообщал вам о своем возвращении из Авонмута, от Колингворта, который обещал уведомить меня о том, какие шаги он предпримет для умиротворения кредиторов. Как я и ожидал, он не написал мне ни слова. Но стороной мне удалось узнать кое-что. По этим сведениям — из вторых рук и, может быть, не совсем точным — Колингворт сделал именно то, что я ему советовал, и созвав кредиторов, изложил им подробно положение своих дел. Эти добрые люди были так тронуты нарисованной им картиной достойного человека в борьбе с превратностями судьбы, что некоторые из них прослезились, и не только все единодушно решили отсрочить ему уплату, но даже зашла речь о сборе в его пользу. Я слышал, что он уехал из Авонмута, но не имею ни малейшего понятия о том, что с ним случилось. Общее мнение, что он уехал в Англию. Он странный малый, но я желаю ему успеха, где бы он ни был.

Вернувшись домой, я снова стал помогать отцу, и поджидать, не откроется ли какой-нибудь выход. Полгода пришлось мне ждать — тяжелые полгода; и как же не обрадоваться, когда однажды вечером я получил письмо за подписью Кристи Гоуден с приглашением явиться для переговоров ввиду возможности получить место. Мы не могли догадаться, в чем дело, но я был полон надежды.

Итак, на другой же день, я надел парадную шляпу, а матушка влезла на стул и два раза прошлась платяной щеткой по моим ушам, воображая, что от этого воротник моего сюртука будет выглядеть презентабельнее. С этим намерением я пустился в свет, а добрая душа стояла на лестнице, провожая меня взглядом и пожеланиями успеха.

Не без трепета сердечного явился я в контору, так как я гораздо более нервный человек, чем думают некоторые из моих друзей. Как бы то ни было, я предстал наконец перед ясными очами мистера Джемса Кристи, сухого, жесткого господина с тонкими губами, резкими манерами и той шотландской точностью выражений, которая производит впечатление ясности мысли.

— Я слышал от профессора Максвелла, что вы ищете место, мистер Монро, — сказал он.

— Я был бы очень рад получить место, — отвечал я.

— О ваших медицинских познаниях нет надобности толковать, — продолжал он, осматривая меня с ног до головы самым пытливым взглядом. — Ваш диплом ручается за них. Но профессор Максвелл считает вас особенно пригодным для этого места по физическим причинам. Могу я спросить, сколько в вас веса?

— Четырнадцать стоунов.

— А рост, насколько могу судить, шесть футов?

— Именно.

— Далее, насколько мне известно, вы привычны ко всякого рода физическим упражнениям. Ну, конечно, не может быть и сомнения в том, что вы вполне подходящий человек, и я очень рад рекомендовать вас лорду Салтайру.

— Позвольте вам напомнить, — заметил я, — что я еще не знаю, какое это место и какие условия вы предлагаете.

Он засмеялся.

— Я немного поторопился, — сказал он, — но не думаю, чтобы мы разошлись насчет места или условий. Быть может вы слыхали о несчастье нашего клиента, лорда Салтайра? Нет? В немногих словах, его сын, сэр Джемс Дервент, наследник и единственный отпрыск,

пострадал от солнечного удара во время уженья рыбы нынче летом, в июле. С тех пор его рассудок не совсем в порядке, он остается в хроническом состоянии угрюмой хандры, которая время от времени разражается припадками бешенства. Отец его не позволяет ему отлучаться из Лохтолли Кэстль и желает, чтобы при нем находился врач для постоянного наблюдения. Ваша физическая сила, без сомнения, окажется очень полезной в случае бешеных припадков, о которых я сейчас упомянул. Вознаграждение — двенадцать фунтов в месяц, и желательно, чтобы вы приступили к исполнению своих обязанностей завтра же.

Я шел домой, дорогой Берти, с бьющимся сердцем и не слыша под собой ног. В кармане у меня оказался восьми-пенсовик, и я истратил его весь на покупку очень хорошей сигары, чтобы отпраздновать этот случай. Старикашка Колингворт всегда был очень хорошего мнения о сумасшедших для начинающего. «Берите сумасшедшего, дружище! Берите сумасшедшего!» — говаривал он. Но тут открывалось не только место, а и связи в высшем обществе. Казалось, легко было предвидеть, как пойдет дело. Случится заболевание в семье (может заболеть сам лорд Салтайр или его жена), за доктором посылать — время не терпит. Приглашают меня. Я приобретаю доверие и становлюсь домашним врачом. Они рекомендуют меня своим богатым друзьям. Все это было так же ясно, как возможно. Я рассуждал по дороге домой, стоит ли отказываться от выгодной практики ради профессорской кафедры, которая может быть мне предложена.

Мой отец принял известие довольно философски, сардонически заметив, что мой пациент и я составим вполне подходящую компанию друг для друга. Зато матушка пришла в восторг, за которым последовал пароксизм ужаса. У меня оказалось только три рубашки, лучшее мое белье было отправлено в Белеет для поправки и починки, ночные сорочки еще не были помечены, — словом, возникла куча тех мелких домашних затруднений, о которых мужчины никогда не думают. Зловещее видение леди Салтайр, пересматривающей мое белье и находящей носок без пятки, не давало покоя матушке. Мы вместе отправились по магазинам, и к вечеру душа ее была спокойна, а я был обеспечен бельем в счет моего первого месячного заработка. Когда мы возвращались домой, матушка распространялась насчет великих людей, к которым я поступаю на службу. Надо вам сказать, что фамильная гордость — ее слабое место. По прямой линии Пекенгэмы (она урожденная Пекенгэм) считают в числе своих предков нескольких выдающихся людей, а по боковым, — о, по боковым линиям нет, кажется, монарха в Европе, который не был бы с нами в родстве. «Салтайры в некотором смысле твои родственники, голубчик, — говорила она. — Ты в очень близком родстве с Перси, а в жилах Салтайров тоже есть кровь Перси. Правда, они только младшая линия, а мы в родстве с старшей; но из-за этого мы не станем отвергать родство». — Она бросила меня в пот, намекнув, что может легко уладить дело, написав леди Салтайр и выяснив наши отношения. Несколько раз в течение вечера я слышал, как она снисходительно бормотала, что Салтайры только младшая линия.

На следующее утро я отправился в Лохтолли, который, как вы знаете, находится в северном Портисайре. Он расположен в трех милях от станции. Большой серый дом с двумя башнями, выдающимися над сосновым лесом, точно заячьи уши над травой. Въезжая в ворота, я чувствовал себя не в своей тарелке, — совсем не так, как должна себя чувствовать старшая линия, снисходящая до посещения младшей. В прихожей меня встретил важный, ученого вида мужчина, которому я хотел было сердечно пожать руку. К счастью он предупредил изъятие моих дружеских чувств, заявив, что он дворецкий. Он провел меня в маленький кабинет, где все блестело лаком и сафьяном, и где мне пришлось подождать великого человека. Последний оказался гораздо менее внушительной фигурой, чем его дворецкий, так что я сразу остановился, лишь только он открыл рот. Это краснолицый господин, с проседью, с резкими чертами, с пытливым, но благодушным видом, очень добродушный с виду и немножко вульгарный. Супруга же его, с которой он познакомил меня позднее, крайне отталкивающая особа, — бледная, холодная, с лошадиным лицом, опухшими веками и сильно выдающимися синими жилками на висках. Она снова заморозила меня, хотя я совсем было оттаял под влиянием ее мужа. Как бы то ни было, всего больше

интересовало меня увидеть моего пациента, к которому лорд Салтайр отвел меня после чая.

Он помещался в большой комнате в конце коридора. У дверей сидел лакей, помещенный здесь для надзора на время отсутствия доктора, и, по-видимому, очень обрадовавшийся моему приходу. На противоположном конце комнаты под окном (снабженным деревянной перегородкой, как в детских) сидел рослый, рыжеволосый, рыжебородый молодой человек, который окинул нас рассеянным взглядом голубых глаз, когда мы вошли. Он перелистывал «Иллюстрированные Лондонские Известия».

— Джемс, — сказал лорд Салтайр, — это доктор Старк Монро, приехавший ухаживать за вами.

Мой пациент пробормотал себе в бороду, как мне послышалось, что-то вроде: «к черту доктора Старка Монро!» Пэр очевидно услышал то же самое, так как взял меня за локоть и отвел в сторону.

— Я не знаю, предупредили ли вас, что Джемс довольно грубоват в обращении в своем теперешнем состоянии, — сказал он. — Его характер сильно испортился со времени приключившегося с ним несчастья. Вы не должны оскорбляться тем, что он скажет или сделает.

— Разумеется, нисколько, — отвечал я.

— Есть наследственная склонность к этому со стороны моей жены, — прошептал лорд, — у ее дяди были те же симптомы. Доктор Петерсон говорит, что солнечный удар только определяющая причина. Расположение было уже налицо. Напомню вам, что слуга будет всегда находиться в соседней комнате, так что вы можете позвать его, если потребуется помощь.

В заключение лорд и лакей ушли, а я остался с пациентом. Я решил, что мне следует, не теряя времени, попытаться установить дружеские отношения с ним, и потому уселся на стул подле его дивана и предложил ему несколько вопросов относительно его здоровья и привычек. Но я не мог добиться от него ни слова в ответ. Он молчал упрямо, с усмешкой на красивом лице, показывавшей мне, что он отлично слышит все мои вопросы. Я пытался так и сяк, но не мог выжать из него ни единого звука, так что в конце концов отвернулся от него и принялся рассматривать иллюстрированные журналы на столе. Он, по-видимому, не читает их, а только рассматривает картинки. Вообразите себе мое удивление, когда, сидя таким образом, в пол-оборота к нему, я почувствовал, что кто-то тихонько дотрагивается до меня, и заметил большую загорелую руку, пробирающуюся к моему карману. Я схватил ее и быстро повернулся, но слишком поздно, мой носовой платок уже исчез за спиной сэра Джемса Дервента, который скалил на меня зубы, точно проказливая обезьяна.

— Полноте, он может мне понадобиться, — сказал я, стараясь обратить все дело в шутку.

Он произнес несколько слов более живописных, чем благочестивых. Я убедился, что он вовсе не намерен возвращать мне платок, но решил не давать ему перевеса над собой. Я схватил платок, но он, ворча, ухватился за мою руку обеими руками. Он был силен, но я выворачивал ему кисть, пока он не зарычал и не выпустил платок.

— Забавно! — сказал я, делая вид, что смеюсь. — Хотите, попробуем еще. Держите платок, а я постараюсь отнять его опять.

Но с него было довольно. Однако его расположение духа несколько улучшилось после этого инцидента, и я мог добиться от него коротеньких ответов на мои вопросы.

Но прошло несколько недель, пока я приобрел его доверие настолько, что мог вести с ним связанный разговор. Долгое время он оставался мрачным и подозрительным, так как чувствовал, что я постоянно слежу за ним. Этому нельзя было пособить, так как он был неистощим на всевозможные проказы. Однажды он овладел моей табачницей и запихал две унции табаку в дуло длинного восточного ружья, висевшего на стене. Он заколотил их шомполом так, что я не мог достать. Другой раз выбросил в окно плевательницу, за которой последовали бы и часы, если бы я не помешал. Ежедневно я выходил с ним на двухчасовую прогулку, исключая дождливые дни, когда мы добросовестно гуляли два часа взад и вперед

по комнате. Да, это был убийственно тоскливый образ жизни!

Я должен был следить за ним, не спуская глаз, целый день, кроме двухчасового отдыха после полудня и одного вечера в неделю, по пятницам, предоставленного в мое распоряжение. Но к чему мне был этот вечер, когда поблизости не было города, и у меня не было знакомых, которых я мог бы навещать. Я много читал, получив от лорда Салтайра разрешение пользоваться его библиотекой.

Время от времени юный Дервент вносил некоторое оживление в мою тоскливую жизнь. Однажды, когда мы гуляли по саду, он внезапно схватил заступ и ринулся на безобидного младшего садовника. Тот, с воплем о помощи, пустился бежать; мой пациент за ним, а я за пациентом. Когда, наконец, мне удалось поймать его за ворот, он бросил свое оружие и расхохотался. Это была только проказа, а не бешенство; но после того, когда нам случалось подходить к садовнику, он улепetyивал, бледный, как сливочный сыр. Ночью в ногах моего пациента спал на складной кровати служитель, я же помещался в комнате рядом, так что мог явиться немедленно в случае надобности. Нет, жизнь была невеселая!

Когда не было гостей, мы обедали вместе с хозяевами, и составляли курьезный квартет: Джимми (он требовал, чтобы его так называли), угрюмый и молчаливый; я, следящий за ним искоса, не спуская глаз; леди Салтайр с опухшими веками и синими жилами; и благодушный пэр, суетливый и жизнерадостный, но всегда несколько стесненный в присутствии супруги. Судя по ее виду, той был бы полезен стакан доброго вина; ему же не повредила бы умеренность; и вот, согласно обычной односторонности жизни, он хлопал стакан за стаканом, она же не брала в рот ничего, кроме воды с лимонным соком. Вы представить себе не можете более невежественной, нетерпимой, ограниченной женщины. Если б она хоть молчала и прятала свои маленькие мозги, то было бы еще туда-сюда; но конца не было ее желчной и раздражающей болтовне. А как подумаешь: на что она сама-то годится, кроме передачи болезни из поколения в поколение. Я решил избегать всяких споров с ней; но своим женским инстинктом она догадалась, что мы расходимся, как два полюса, и находила удовольствие в том, чтобы махать красной тряпкой перед моими глазами. Однажды она разносила какого-то священника епископальной церкви за то, что он совершил какую-то службу в пресвитерианской капелле. Кажется, сделал это соседний священник, и если б он появился в кабаке, она не могла бы говорить об этом с большим негодованием. Должно быть мои глаза говорили, о чем язык молчал, потому что она внезапно обратилась ко мне и сказала:

— Я вижу, что вы не согласны со мной, доктор Монро.

Я спокойно ответил, что не согласен, и попытался перевести разговор на другую тему; но ее трудно было сбить с позиции. — Почему же, могу я спросить?

Я объяснил, что по моему мнению тенденция века — устранение смешных догматических разногласий, совершенно ненужных и столько времени вредивших людям; и выразил надежду, что скоро наступит время, когда хорошие люди всех вероисповеданий выбросят этот хлам и протянут друг другу руки.

Она привстала, почти лишившись языка от негодования.

— Я замечаю, — проговорила она, — что вы один из тех людей, которые желали бы уравнивать в правах все церкви.

— Без сомнения, — ответил я.

Она выпрямилась в каком-то холодном бешенстве, и выплыла вон из комнаты, Джимми захихикал, а его отец казался смущенным.

— Жалею, что мои мнения задевают леди Салтайр, — заметил я.

— Да, да; очень жаль, очень жаль, — сказал он, — ну, ну, мы должны говорить, то что думаем; жаль, что вы так думаете, очень жаль.

Я ожидал моей отставки после этого случая, да он и действительно послужил ее косвенной причиной. С этого дня леди Салтайр относилась ко мне так грубо, как только могла, и не упускала случая обрушиться на то, что считала моими мнениями. Я игнорировал ее нападки, но в один злосчастный день она обратилась ко мне так прямо, что нельзя было

увернуться. Это случилось после завтрака, когда слуга вышел из комнаты. Она говорила о поездке лорда Салтайра в Лондон для подачи голоса по какому-то вопросу в палате лордов.

— Быть может, доктор Монро, — сказала она, — это учреждение также не удостоилось счастья заслужить ваше одобрение.

— Я бы предпочел отказаться от обсуждения этого вопроса, леди Салтайр, — отвечал я.

— О, надо иметь мужество высказывать свои убеждения, — возразила она. — Раз вы желаете ограбить Национальную церковь, то весьма естественно с вашей стороны и желание ниспровергнуть конституцию. Я слыхала, что атеист всегда красный республиканец.

Лорд Салтайр встал, без сомнения желая положить конец этому разговору. Джимми и я тоже встали; и вдруг я заметил, что вместо того, чтобы идти к двери, он направляется к матери. Зная его проказы, я взял его под руку, и попытался увести. Она заметила это и вмешалась.

— Ты хотел говорить со мной, Джимми?

— Я хотел сказать вам что-то на ухо, мама.

— Прошу вас, не волнуйтесь, сэр, — сказал я, снова пытаюсь удержать его. Леди Салтайр наморщила свои аристократические брови.

— Мне кажется, доктор Монро, вы простираете свой авторитет слишком далеко, решаясь вмешиваться между матерью и ее сыном, — сказала она. — В чем дело, мой бедный, дорогой мальчик?

Джимми наклонился и что-то шепнул ей на ухо. Кровь бросилась в ее бледное лицо, и она отшатнулась от него, точно он ударил ее. Джимми оскалил зубы.

— Это дело ваших рук, доктор Монро! — крикнула она в бешенстве. — Вы развратили душу моего сына, и подстрекнули его оскорбить свою мать.

— Милая! Милая! — жалобно произнес ее супруг, а я спокойно увел упирающегося Джимми. Я спросил его, что такое он сказал своей матушке, но он отвечал только хихиканьем.

Я предчувствовал, что история этим не кончится, и не ошибся. Вечером лорд Салтайр пригласил меня в свой кабинет.

— Дело в том, доктор, — сказал он, — что леди Салтайр крайне возмущена и оскорблена тем, что произошло сегодня за завтраком. Конечно, вы сами можете понять, что подобное выражение из уст родного сына потрясло ее сильнее, чем я могу выразить.

— Могу вас уверить, лорд Салтайр, — сказал я, — что я не имею ни малейшего понятия о том, что произошло между леди Салтайр и моим пациентом.

— Ну, — сказал он, — не вдаваясь в подробности, могу сообщить, что он прошептал кощунственное и выраженное самым грубым языком пожелание относительно будущности Верхней Палаты, к которой я имею честь принадлежать.

— Очень сожалею, — отвечал я, — но уверяю вас, что я никогда не поощрял его крайних политических мнений, которые, как мне кажется, составляют один из симптомов его болезни.

— Я совершенно убежден в вашей правдивости, — ответил он, — но леди Салтайр, к несчастью, уверена, что вы внушили ему эти идеи. Вы знаете, что с леди иногда довольно трудно говорить. Как бы то ни было, я не сомневаюсь, что все может уладиться, если вы сходите к леди Салтайр, и убедите ее, что она неправильно поняла ваши мнения и что вы сторонник наследственной палаты лордов.

Он припер меня к стене, Берти, но я тотчас решил, что делать. С первого же слова я видел свою отставку в каждом уклончивом взгляде его маленьких глаз.

— Боюсь, — сказал я, — что вы требуете от меня большего, чем я способен исполнить. Я думаю, что с того, дня, как между мной и леди Салтайр, произошло столкновение, можно было считать решенным, что я должен отказаться от обязанностей, которые исполняю в вашем доме. Во всяком случае я готов оставаться здесь до тех пор, пока вы найдете кого-нибудь на мое место.

— Ну, мне жаль, что дошло до этого, но может быть вы правы, — сказал он со вздохом облегчения. — Что касается Джимми, то никаких затруднений в отношении его не представляется, так как доктор Петерсон может явиться завтра утром.

— В таком случае завтра утром я уезжаю, — ответил я.

— Очень хорошо, доктор Монро, я распоряжусь, чтобы вам передали чек до вашего отъезда.

Так был положен конец моим прекрасным мечтам об аристократической практике! Кажется, единственный человек в доме, сожалеющий о моем отъезде, был Джимми, совершенно ошеломленный этим известием. Его сожаление, однако, не помешало ему выгладить щеткой мой новенький цилиндр против ворса перед самым моим отъездом на другое утро. Я заметил это только по приезде на станцию; воображаю, какую эффектную фигуру я представлял из себя при отъезде!

Так кончился мой неудачный опыт. Матушка была огорчена, но старалась не показывать этого. Отец отнесся ко всей этой истории довольно сардонически. Боюсь, что недоразумение между нами растет. Между прочим в мое отсутствие было получено странное письмо от Колингворта. «Вы мой, — писал он, — имейте в виду, что я вас вызову, когда вы мне понадобится». Ни числа, ни адреса в письме не значилось, но судя по штемпелю на конверте, оно было послано из Бреджилда в северной Англии. Значит ли это что-нибудь? Или ничего не значит? Подождем, — увидим.

Покойной ночи, старина! Пишите мне так же подробно о ваших делах.

Письмо четвертое

Мертон на Мурсе, 5 марта 1882 г.

Из адреса в заголовке этого письма вы увидите, Берти, что я уехал из Шотландии и нахожусь в Йоркшире. Я пробыл здесь два месяца, и теперь уезжаю при самых странных обстоятельствах и с самыми курьезными перспективами. Молодчина Колингворт вывернулся-таки из тисков, как я и ожидал. Но я по обыкновению начал не с того конца; надо дать вам понятие о том, что произошло.

В моем последнем письме я сообщал вам о моих похождениях с сумасшедшим и бесславном отъезде из Лохтолли Кастоль. Когда я расплатился за фланелевые фуфайки, которые так расточительно заказала матушка, у меня осталось от жалования только пять фунтов. На эти деньги, первые заработанные деньги в моей жизни, я купил ей золотой браслет, и таким образом вернулся к своему обычному состоянию безденежья. Но все-таки, сознание, что я зарабатывал деньги, что-нибудь да значит. Оно давало мне уверенность, что то же самое может и повториться.

Я прожил дома всего несколько дней, когда мой отец однажды после завтрака отвел меня в свой кабинет, чтобы поговорить серьезно о нашем финансовом положении. Он начал с того, что расстегнул жилет, и предложил мне послушать у него под пятым ребром на два дюйма влево от средней линии груди. Я повиновался и был неприятно поражен, услышав крайне подозрительный шум.

— Это давнишнее, — сказал он, — но в последнее время некоторые симптомы показывают мне, что дело идет на ухудшение.

Я было хотел выразить сожаление и сочувствие, но он перебил меня довольно резко.

— Дело в том, — сказал он, — что ни одно общество не согласится застраховать мою жизнь, а вследствие конкуренции и возрастающих расходов я не мог ничего отложить. Если я скоро умру (что, между нами будь сказано, вещь вполне вероятная), то на твоих руках останется мать и дети. Моя практика до такой степени личная, что я не могу рассчитывать передать ее тебе в размерах, достаточных для существования.

Я вспомнил, что Колингворт, после своего опыта, советовал отправляться туда, где вас

не знают.

— Я думаю, — сказал я, — что у меня больше шансов на успех где-нибудь в другом месте, чем здесь.

— В таком случае ты не должен терять времени, — ответил он.

— Твое положение будет очень ответственным, если со мной что-нибудь случится. Я надеялся, что для тебя откроется прекрасная карьера через Салтайров; но боюсь, что тебе не добиться успеха в свете, милый мой, если ты будешь оскорблять политические и религиозные взгляды своего патрона за его же столом.

Спорить было бы неуместно, и потому я промолчал. Отец со стола взял номер «Ланцета» и показал мне объявление, которое он отметил синим карандашом. «Прочти это!» — сказал он.

Оно лежит передо мной сейчас. Вот его содержание: «Ассистент врач. Требуется немедленно для обширной практики в сельском и каменноугольном округе. Основательное знание акушерства необходимо. 70 фунтов в год. Обратиться к д-ру Гортону, Мертон на Мурсе, Йоркшир».

— Там, может быть, можно устроиться, — сказал он, — Я знаю Гортон и уверен, что могу устроить тебя у него. По крайней мере у тебя будет возможность оглядеться и узнать, есть ли там какие-нибудь шансы на успех. Что ты об этом думаешь?

Разумеется, я мог только ответить, что готов взяться за всякое дело. Но впечатление от этого разговора осталось в моей душе в виде тяжелого предчувствия, которое не оставляет меня даже в те моменты, когда забываю о его причине. Мысль, что судьба матери, сестер и маленького Поля зависит от меня, когда я и себя-то не могу прокормить, — это кошмар...

Ну, дело устроилось, и я отправился в Йоркшир. Неважно я себя чувствовал, а по мере приближения к месту окончательно упал духом. Как могут люди жить в таких местах — для меня просто непостижимо. Чем может жизнь вознаградить их за это изуродование лица природы? Ни лесов, ни лужаек, — дымные трубы, бурая вода, горы кокса и шлака, огромные колеса и водокачки. Дороги, усыпанные пеплом и каменноугольной пылью, черные, точно запачканные усталыми углекопами, плетущимися по ним, ведут среди угрюмых полей к закопченным дымом коттеджам.

Итак, мое настроение становилось все мрачнее и мрачнее, и я совсем повесил нос на квинту, когда в наступающих сумерках прочел при свете ламп грязной маленькой станции надпись «Мертон». Я вышел из вагона и стоял с чемоданом и картонкой для шляпы, поджидая носильщика, когда какой-то малый с открытым веселым лицом подошел ко мне и спросил, не я ли доктор Старк Монро. — Я Гортон — сказал он, и мы дружески пожали друг другу руки.

В этой угрюмой местности он был для меня точно огонь в морозную ночь. Наружность его пришлась мне очень по душе: краснощекий, черноглазый, стройный, с милой, веселой улыбкой. Я чувствовал, пожимая ему руку на окутанной туманом, угрюмой станции, что встретил человека и друга.

Экипаж его дожидался у крыльца, и мы отправились в его местопребывание. — Мирты, где я живо познакомился с его семьей и с его практикой. Первая была мала, вторая громадна. Жена его умерла, но ее мать, миссис Уайт, вела его хозяйство; были у него также две девочки, пяти и семи лет. Был еще не дипломированный ассистент, студент ирландец, который с тремя служанками, кучером и мальчиком, состоявшим при конюшне, составляли весь служебный персонал. Если я прибавлю, что мы давали четверке лошадей столько работы, сколько они могли вынести, то вы будете иметь понятие о районе, который захватывала наша практика.

Мы работали с утра до ночи, и тем не менее я с удовольствием вспоминаю эти три месяца.

Я попытаюсь дать вам понятие о нашей работе в течение дня. Мы завтракали около девяти утра, и тотчас затем начинали являться утренние пациенты. Многие из них были очень бедные люди, принадлежавшие к горнозаводским клубам, устроенным на таком

основании, что каждый член платит полпенни в неделю круглый год, невзирая на то, здоров ли он или болен, а зато в случае болезни пользуется бесплатно медицинской помощью и лекарствами. «Немного поживы для врача», скажете вы, но поразительно, какая конкуренция существует между ними из-за этой практики. Важно то, что тут есть нечто определенное, верное, а кроме того косвенно эта практика влечет за собой и другую. Впрочем, и доходы не так уж малы; и я не сомневаюсь, что Гортон получает пятьсот или шестьсот фунтов в год от одних только клубов. С другой стороны, как вы можете себе представить, клубные пациенты, раз им все равно приходится платить, не запускают своих болезней прежде чем явиться в приемную врача.

Итак, в половине десятого работа идет вовсю. Гортон исследует лучших пациентов в кабинете, я осматриваю беднейших в приемной, а ирландец Мак Карти пишет рецепты. По клубным правилам пациент обязан приносить свою бутылочку и пробку. О бутылочке они помнят, но пробку обыкновенно забывают. «Платите пенни или затыкайте пальцем», — говорит Мак Карти. Они уверены, что вся сила лекарства выдохнется, если бутылочка будет открыта, и потому затыкают ее пальцем как можно старательнее. Вообще, у них курьезные представления о медицине. Всего больше им хочется получить две бутылочки: одну с раствором лимонной кислоты, другую с углекислым натром. Когда смесь начинает шипеть, они уверены, что здесь-то и сидит настоящая врачебная наука.

Эта работа, а также прививка оспы, перевязки, мелкая хирургия продолжается до одиннадцати часов, когда мы собираемся в комнате Гортон, чтобы распределить между собой пациентов, которых нужно навестить. Затем, около половины двенадцатого отправляемся: Гортон в карете, запряженной парой, к патронам; я в кабриолете к служащим, а Мак Карти на своих крепких ирландских ногах к таким хроникам, которым дипломированный врач не может помочь, а недипломированный не может повредить. К двум часам мы возвращаемся домой, где нас дожидается обед. Если посещения не кончены, мы продолжаем их после обеда. Если кончены, Гортон диктует свои предписания, лежа на постели с черной глиняной трубкой в зубах. Я еще не встречал такого отчаянного курильщика. Затем он уходил вздремнуть, а мы с Мак Карти принимались составлять лекарства. Приходилось составить номеров пятьдесят: пилюль, мазей и проч. К половине пятого мы кончали работу и расставляли лекарства с пометками — кому какое назначается — на полке. Затем отдыхали час или около того: курили, читали или боксировали с кучером в сарае. После чая начиналась вечерняя работа. От шести до девяти являлись пациенты за лекарствами или новые за советом. Управившись с ними, мы снова отправлялись навестить серьезных больных, и часам к десяти освобождались настолько, что могли покурить или даже перекинуться в карты перед сном. Редкая ночь проходила без того, что кому-нибудь из нас не приходилось отправляться к больному, ввиду экстренной надобности, которая может отнять у вас два часа, может отнять и десять часов. Работа тяжелая, как видите, но Гортон такой милый человек и сам так усердно работает, что работы и не замечаешь. Да и живем мы, как братья, наш разговор всегда веселая болтовня, пациенты тоже чувствуют себя как дома, так что труд превращается в удовольствие.

Да, Гортон действительно хороший малый. Сердце у него широкое, отзывчивое и великодушное. Ничего мелочного нет в этом человеке. Он любит видеть вокруг себя довольные лица, и вид его бодрой фигуры и румяного лица много способствует этому. Не думайте, впрочем, что он кроткий человек. Он так же быстро воспламеняется, как утихает. Ошибка в составлении лекарства выводит его из себя; он влетает в комнату, как порыв восточного ветра. Стекла звенят, склянки дребезжат, конторка ходит ходуном, затем он вылетает обратно, хлопая дверьми, одна за другой. По этому хлопанию мы можем следить за ходом его пароксизмов. Видно, Мак Карти отпустил микстуру от кашля для примочки глаз или прислал пустую коробочку от пилюль с предписанием принимать по одной каждые четыре часа. Во всяком случае циклон налетает и улетает, и минуту спустя водворяется мир.

Теперь перехожу к самой главной новости, которая меняет всю мою жизнь. От кого бы вы думали получил я на днях письмо? От Колингворта, ни более ни менее. Письмо было без

начала и конца, с перевранным адресом, нацарапанное испорченным пером на клочке рецепта. Удивляюсь, как оно дошло до меня. Вот его содержание:

«Основался здесь, в Бреджилд с июня. Колоссальный успех. Мой пример должен революционизировать всю медицинскую практику. Быстро наживаю состояние. Придумал изобретение, которое стоит миллионы. Если наше Адмиралтейство не возьмет, сделаю Бразилию господствующей морской державой. Приезжайте с ближайшим поездом. Дела полные руки».

Вот все письмо; подписи не было, да и надобности в ней не было, так как кто, кроме Колингворта, мог написать такое письмо. Зная Колингворта, я отнесся к письму сдержанно. Как мог он завоевать такой быстрый и полный успех в городе, где был совершенно чужим? Это казалось с невероятным. С другой стороны, в письме должна была заключаться и правда, иначе бы он не пригласил меня приехать и проверить его. В конце концов, я решил, что это дело требует большой осмотрительности; так как здесь я чувствовал себя счастливо и уютно, и понемногу приобретал то, что мне казалось ядром моей будущей практики. Пока еще она составляла несколько фунтов, но спустя год или два может сформироваться нечто. Итак, я написал Колингворту, благодаря его за память обо мне и объясняя положение моих дел. «Мне крайне трудно было приобрести положение, — говорил я, — и теперь, когда оно есть, мне не хотелось бы отказываться от него иначе, как для чего-нибудь верного».

Прошло десять дней, в течение которых Колингворт молчал. Затем пришла телеграмма:

«Письмо получил. Почему не назвать меня прямо лжецом? Говорю вам, что освидетельствовал тридцать тысяч пациентов в этом году. Доход более четырех тысяч фунтов. Все пациенты рвутся ко мне. Вам могу предоставить все визиты, всю хирургию, все акушерство. Делайте с ними что хотите. Гарантирую триста фунтов в первый же год».

Ну, это больше походило на дело, особенно последняя фраза. Я обратился за советом к Гортону. Его мнение было то, что я ничего не терял и мог все выиграть. Итак, в конце концов я телеграфировал, что принимаю предложение, — и вот завтра утром я отправляюсь в Бреджилд, с маленьким багажом, но с большими надеждами.

Покойной ночи, старина. Моя нога на пороге успеха. Поздравьте меня.

Письмо пятое

Бреджилд, 7 марта 1882 г.

Всего два дня тому назад я писал вам, дружище, и вот уже полон до краев новостями. Я приехал в Бреджилд. Увидел Колингворта и убедился, что все, что он говорил, правда. Да, как оно ни странно звучит, но этот удивительный малый приобрел колоссальную практику в какой-нибудь год. При всех своих эксцентричностях он действительно замечательный человек, Берти. Только ему не на чем развернуть свои силы в нашем установившемся обществе. Закон и обычай стесняют его. Он был бы одним из вожakov французской Революции. Или, если бы ему сделаться императором какого-нибудь из маленьких южноамериканских государств, он через десять лет был бы, я уверен, или в могиле, или повелителем всего материка.

Наше прощание с Гортоном было самое дружеское. Будь он мой брат, он не мог бы отнестись ко мне с большим участием. Я бы не поверил, что могу так привязаться к человеку в такое короткое время. Он относится с живейшим интересом к моему предприятию, и я должен написать ему подробный отчет обо всем. На прощанье он подарил мне черную пенковую трубку, раскрашенную им самим, — высший знак внимания со стороны курильщика. Мне приятно думать, что если я потерплю неудачу в Бреджилде, то у меня есть маленькая пристань в Мертоне. Конечно, как ни приятна и поучительна тамошняя жизнь, но я не мог скрыть от себя, что пройдет страшно много времени прежде чем я накоплю достаточно, чтобы купить долю в практике, — быть может, больше времени, чем

проживет мой бедный отец. Телеграмма Колингворта, в которой, если помните, он гарантировал мне триста фунтов в год, позволяет мне надеяться на гораздо более быструю карьеру. Я уверен, вы согласитесь со мной, что я поступил благоразумно, поехав к нему.

По дороге в Бреджилд было у меня маленькое приключение. В вагоне, где я сидел, оказалось еще трое пассажиров, на которых я взглянул мельком, прежде чем погрузиться в чтение газеты. Одна из них была пожилая дама, с круглым розовым лицом в золотых очках и в шляпке, отделанной красным бархатом. С ней были двое молодых людей, дочь и сын по моему суждению: спокойная, миловидная девушка лет двадцати, в черном, и невысокий, плотный парень годом или двумя старше. Обе дамы сидели друг против друга поодаль, а сын (предполагая, что это был сын) против меня. Мы ехали час или больше, и я не обращал никакого внимания на эту компанию, только невольно улавливал ухом обрывки их разговора. Младшая, которую называли Винни, обладала, как я заметил, очень приятным и мягким голосом. Она называла старшую «мама», что подтвердило мое предположение. Итак, я сидел, читая газету, как вдруг почувствовал, что мой визави толкает меня в ногу. Я отодвинулся, думая, что это простая случайность, но тотчас затем получил толчок еще более сильный. Я сердито опустил газету, и сразу увидел, в чем дело. Ноги его судорожно дергались, руки тряслись и колотили в грудь, глаза закатывались так, что была видна радужная оболочка. Я бросился к нему, расстегнул на нем воротник и жилет и уложил его на сидение.

— Не пугайтесь! — крикнул я. — Это эпилепсия, припадок сейчас пройдет.

Взглянув на дам, я увидел, что девушка сидит неподвижно, бледная как полотно. Мать достала скляночку и была совершенно спокойна.

— У него часто бывают такие припадки, — сказала она, — вот бромистый калий.

— Припадок проходит, — отвечал я. — присмотрите за Винни.

Я ляпнул это, ибо мне показалось, что она близка к обмороку, но минуту спустя нелепость моего обращения была ясна нам всем; мать засмеялась, а я и девушка за ней. Сын открыл глаза, и перестал биться.

— Простите, — сказал я, когда помог ему оправиться. — Я слышал только это имя, и впопыхах не соображал, что говорю. Они снова добродушно засмеялись, и когда молодой человек оправился вполне, между нами завязалась дружеская беседа. Удивительно, как быстро вторжение какой-нибудь житейской реальности сметает всю паутину этикета. Спустя полчаса мы знали друг о друге решительно все, по крайней мере я о них знал все. Фамилия матери миссис Лафорс, она осталась вдовой с двумя детьми. Она предпочитала не вести своего хозяйства, а жить в комнатах, путешествуя из одного курорта в другой. Единственной их заботой была нервная болезнь сына, Фрэда. Теперь они ехали в Бирчеспуль в надежде, что тамошний воздух, поможет ему. Я со своей стороны рекомендовал вегетарианизм, который, по моим наблюдениям, удивительно действует в подобных случаях. Мы болтали очень весело, и я думаю, обе стороны расставались с сожалением, когда доехали до станции, где им нужно было пересесть. Миссис Лафорс дала мне свою карточку, и я обещал зайти к ним, если попаду когда-нибудь в Бирчеспуль.

Было около шести часов, и наступали сумерки, когда мы прибыли в Бреджилд. Первое, что я увидел выглянув из окна, был Колингворд, совершенно тот же, что всегда, — он расхаживал быстрыми шагами по платформе, в расстегнутом сюртуке, головой вперед и сверкая своими крупными зубами, как породистый бульдог. Увидев меня, он заржал от удовольствия, чуть не вывернул мне руку и в восторге хлопнул меня по плечу.

— Милейший мой? — сказал он. — Мы очистим этот город. Говорю вам, Монро, мы не оставим в нем ни одного доктора. Теперь они кое-как добывают масло к своему хлебу, ну, а когда мы вдвоем примемся за дело, придется им жевать его сухим. Слушайте, дружище! В этом городе сто двадцать пять тысяч жителей, все требуют врачебной помощи, и ни одного путного докторишки! Парень, нам остается только забрать их всех. Я стою и забираю деньги, пока не онемееет рука.

— Но почему же это? — спросил я, пока мы пробирались сквозь толпу. — Неужели

здесь так мало докторов?

— Мало! — гаркнул он. — Черт побери, они тут кишмя кишат. Если вы выскочите из окна, то упадете на голову доктору. Но все это — да вот, вы сами увидите. Вы шли пешком ко мне в Авонмут, Монро. Ну, а в Бреджилде я не допускаю моих друзей ходить пешком. А, что?

Изящная карета, запряженная парой прекрасных вороных лошадей дожидалась перед подъездом станции. Щеголеватый кучер приложил руку к шляпе, когда Колингворт отворил дверцу.

— К которому из домов, сэр? — спросил он.

Колингворт взглянул на меня, желая видеть, что я думаю о таком вопросе. Между тем, я нимало не сомневался, что он научил кучера предлагать его. Он всегда был мастер пускать пыль в глаза, но обыкновенно чересчур низко оценивал сообразительность окружающих.

— А! — сказал он, потирая подбородок, словно в нерешимости. — Да, я думаю, обед уже готов. Поезжайте в городскую резиденцию.

— Боже милостивый, Колингворт! — сказал я, когда мы тронулись в путь. — В скольких же домах вы живете. Похоже, будто вы купили целый город.

— Ну, ну, — сказал он, — мы едем в дом, где я обыкновенно живу. В нем нам будет удобно, хотя я еще не успел меблировать все комнаты. Кроме того есть у меня ферма в несколько сот акров за городом. Там приятно проводить время по воскресеньям, и мы отправили няньку с ребенком...

— Дружище, я и не знал, что вы уже обзавелись семьей!

— Да, это дьявольская помеха, но факт остается фактом. Мы получаем с фермы масло и другие продукты. Затем, конечно, есть дом для приемов в центре города.

— Приемная и кабинет, я полагаю.

Он взглянул на меня не то с досадой, не то смеясь.

— Вы не можете стать на высоту положения, Монро, — сказал он. — Никогда не встречал парня с таким убогим воображением. Вы сами опешите, когда увидите, только не пытайтесь заранее составлять себе представление о том, что увидите.

— В чем же дело? — спросил я.

— Видите ли, я написал вам о моей практике, телеграфировал о ней, а вы вот сидите да спрашиваете, не работаю ли я в двух комнатах. Если б я нанял базарную площадь, то и на ней мне негде было бы повернуться. В силах ли ваше воображение представить большой дом, в котором каждая комната битком набита пациентами вплоть до погреба. Ну, так вот мой прием в нормальный день. Люди стекаются ко мне из района в пятьдесят миль в поперечнике, запасаются бутербродами и едят на ступеньках лестницы, чтоб только попасть первыми. Санитарный инспектор подал официальную жалобу по поводу переполнения моих комнат. Ждут в конюшне, пристраиваются вдоль стойла и под конской сбруей. Я буду часть их направлять к вам, дружище, и тогда вы увидите, что это такое.

Все это крайне заинтриговало меня, как вы можете себе представить, Берти, так как при всех преувеличениях, свойственных Колингворту, оно должно было заключить в себе зерно истины. Я думал о том, что должен сохранять хладнокровие и убедиться во всем своими глазами, когда карета остановилась и мы вышли.

— Вот мой домишко, — сказал Колингворт.

Это был угловой дом в конце ряда прекрасных построек, и более походил на шикарный отель, чем на частное жилище. Нарядная горничная отворила дверь, и спустя минуту я пожимал руки миссис Колингворт, которая вся была приветливостью и радушие. Видимо, она забыла наше маленькое столкновение с Колингвортом в Авонмуте.

Внутреннее убранство дома было еще пышнее, чем я ожидал по наружному виду. Прихожая и верхний этаж были великолепно меблированы и убраны коврами, но в задних комнатах оказалась пустота. В моей спальне стояла только маленькая железная кровать и таз на ящике. Колингворт взял с камина молоток и принялся вколачивать гвозди в стену у дверей.

— Тут вы можете повесить ваши вещи, — сказал он. — Вам ведь не очень огорчительно потерпеть эти маленькие неудобства, пока мы все устроим?

— Нимало.

— Видите ли, — объяснил он, — не стоит затрачивать сорок пять фунтов на меблировку комнаты, чтобы потом выбросить все это за окно и заменить меблировкой в сто фунтов. В этом нет смысла, Монро. А, что? Я меблирую этот дом так, как еще никакой дом не был меблирован. Люди будут приезжать за сто миль, чтоб полюбоваться на него. Но приходится делать это комната за комнатой. Пойдемте вниз и полюбуемся на столовую. Вы должно быть проголодались после поездки.

Столовая действительно была убрана роскошно, — ничего пошлого и все великолепно. Ковры такой толщины, что нога точно тонула во мху. Суп был на столе, и миссис Колингворт ожидала нас, но он повел меня по комнате посмотреть обстановку.

— Сейчас, Гетти, — крикнул он через плечо, — я только покажу ему все. — Ну-с, эти стулья, — сколько, вы думаете, стоит каждый? А, что?

— Пять фунтов, — сказал я наудачу.

— Именно! — воскликнул он в восторге. — Тридцать фунтов полдюжины. Слышишь, Гетти! Монро сразу определил цену. Теперь, дружище, сколько за эту пару занавесей?

Пара была великолепная, пунцового бархата, с вызолоченными карнизами. Я не решился рисковать своей неожиданно приобретенной репутацией знатока.

— Восемьдесят фунтов! — гаркнул он, шлепая по ним руками. — Восемьдесят фунтов, Монро. Что вы об этом думаете? Все, что есть в этом доме, первого сорта. Да вот, посмотрите на эту горничную. Видели вы милее?

Он схватил за руку девушку и подтащил ее ко мне. «Не дурачься, Джимми», — кротко сказала миссис Колингворт, а он расхохотался так, что клыки обнажились до корней под щетинистыми усами. Девушка прижалась к госпоже, полуиспуганная — полурассерженная.

— Полно, Мэри, ничего! — крикнул он. — Садитесь, Монро, старина. Добудьте-ка нам бутылочку шампанского, Мэри, выпьем за дальнейшие успехи.

В середине обеда он выскочил из комнаты и вернулся с круглым кошельком, величиной с гранатовое яблоко, в руке.

— Что это такое, как вы думаете, Монро?

— Не имею понятия.

— Дневной заработок. А, Гетти? — Он распустил шнурок, и куча золота и серебра посыпалась на скатерть, монеты завертелись и зазвенели между тарелками. Одна скатилась со стола на пол, и была подобрана Мэри.

— Что там такое, Мэри? Полсоверена? Положите его себе в карман. Сколько всего сегодня, Гетти?

— Тридцать один фунт восемь шиллингов.

— Видите, Монро! Заработок одного дня! — Он засунул руку в карман брюк и, достав пригоршню соверенов, потряхивал ими на ладони. — Взгляните-ка, парень. Это не то, что в Авонмуте. А, что?

— Приятная будет новость для тамошних кредиторов, — заметил я.

Он нахмурился на меня с самым свирепым видом. Вы не можете себе представить, каким зверем выглядит Колингворт, когда рассердится. Его светлые голубые глаза загораются враждой, а жесткие волосы топорщатся, как чешуя гремучей змеи. Некрасив он и в добром настроении, а в сердитом просто чудовище. При первом симптоме опасности его жена выслала горничную из комнаты.

— Что вы за чушь несете! — крикнул он. — Неужели вы думаете, что я буду корпеть годы, чтобы расплатиться с этими долгами.

— Я думал, что вы обещали уплатить, — сказал я. — Во всяком случае, это не мое дело.

— Надеюсь, — крикнул он. — Деловой человек рискует, чтоб выиграть или потерять. Он отводит рубрику для безнадежных долгов. Я заплатил бы, если б мог. Я не мог, и потому

сбросил их со счетов. Никто в здравом рассудке не вообразит, что я работаю в Бреджилде для торговцев Авонмута.

— А если они явятся к вам с требованиями уплаты?

— Посмотрим, решатся ли они на это. Пока я плачу за каждую вещь, которую ко мне приносят, чистоганом. Я пользуюсь такой репутацией, что мог бы отделать весь этот дом, от фундамента до конька крыши, как дворец, только я решил отделять комнату за комнатой за наличные. В одной этой комнате около четырехсот фунтов.

Постучались в дверь и вошел мальчик в ливрее:

— С вашего позволения, сэр, мистер Дункан желает вас видеть.

— Передайте мой привет мистеру Дункану, и скажите ему, что он может убираться к черту.

— Дорогой Джимми! — воскликнула миссис Колингворт.

— Скажите ему, что я обедаю, и что если бы все короли Европы собрались в моей приемной, я бы не выглянул в дверь, чтобы посмотреть на них.

Мальчик исчез, но минуту спустя вернулся.

— Извините, сэр, он не хочет уходить.

— Не хочет уходить? Это что значит? — Колингворт разинул рот и поднял вилку и ножик. — Что это значит, плут? Что вы такое болтаете?

— Вот его счет, сэр, — сказал испуганный мальчик.

Лицо Колингворта потемнело и на лбу вздулись жилы.

— Его счет, да? Взгляните сюда! — Он вынул часы и положил их на стол. — Теперь без двух минут восемь. В восемь часов я выйду, и если найду его в приемной, подмету им улицу. Скажите ему, что я размечу его в клочки по всему приходу. У него только две минуты, чтобы спасти свою жизнь, и одна из них уже прошла.

Мальчик вылетел из комнаты, и минуту спустя мы услышали шаги вниз по лестнице и звук захлопнувшейся двери. Колингворт откинулся на спинку стула и хохотал, пока слезы не выступили на его глазах, меж тем как жена его дрожала от сочувственного веселья.

— Я сведу его с ума, — проговорил наконец Колингворт. — Это нервный, трусливый человечек, и когда я смотрю на него, он белеет, как глина. Проходя мимо его лавки, я обыкновенно захожу в нее, останавливаюсь и смотрю на него. Ничего не говорю, только смотрю. Это парализует его. Иногда лавка полна народа, но действие то же самое.

— Кто же он? — спросил я.

— Он мой поставщик зерна. Я сказал, что плачу всем наличными, но он единственное исключение. Видите, раза два-три он вздумал надоедать мне, так я хочу отучить его от этого. Кстати, можно послать ему завтра двадцать фунтов, Гетти. Пора уплатить хоть часть.

После обеда мы перешли в одну из задних комнат, представлявшую поразительный контраст с передними; в ней находился только простой еловый стол и с дюжину кухонных стульев, пол был покрыт линолеумом. В одном конце стояла электрическая батарея и огромный магнит. В другом ящик с пистолетами и кучей патронов. Тут же находилась винтовка, а взглянув на стены я увидел, что они усеяны следами пуль.

— Что это такое? — спросил я, осматриваясь.

— Гетти, что это такое? — повторил он.

— Морская супрематия и господство над морями, — сказала она, точно ребенок, повторяющий урок.

— Именно! — гаркнул он, ткнув меня трубкой. — Морская супрематия и господство над морями. Все это здесь под вашим носом. Говорю вам, Монро, я мог бы поехать завтра же в Швейцарию, и сказать там: «У вас нет выхода к морю и нет гавани, но найдите мне корабль, и я дам вам господство над всеми океанами». Я вымету все моря так, что на них не останется и спичечной коробки, не то что корабля. Вот, в этой горсти я держу всю соленую воду до последней капли.

Жена положила руку ему на плечо, глядя на него с восторженным обожанием. Я отвернулся выколотить трубку и усмехнулся.

— О, смейтесь себе на здоровье, — сказал он (он был удивительно наблюдателен и замечал ваши малейшие движения). — Вы перестанете смеяться, когда я начну получать дивиденды. Сколько стоит этот магнит?

— Фунт?

— Миллион фунтов. Ни пенни меньше. И нация, которая купит его за такую цену, — купит дешево. Я решил отдать, хотя мог бы взять вдесятеро дороже. Я предложу его Главному Лорду Адмиралтейства через неделю или две, и если он окажется путным человеком, заключу с ним сделку. Не каждый день, Монро, к нему является человек с Атлантическим океаном в одной руке, Великим в другой. А что?

Я знал, что это может взбесить его, но тем не менее откинулся на спинку стула и хохотал до упада. Жена его укоризненно смотрела на меня, но он, нахмурившись было, сам расхохотался и принялся расхаживать по комнате, махая руками.

— Конечно, это кажется вам чепухой, — воскликнул он. — Так же бы я отнесся, если бы кто-нибудь другой рассказал мне об этом. Но ручаюсь моим словом, что все это так и есть. Гетти ручается за это. Правда, Гетти?

— Конечно, милый.

— Теперь я объясню вам, Монро. Какой вы неверующий жид, — делаете вид, будто заинтересованы, а про себя смеетесь! Во-первых, я нашел способ — какой именно, не стану рассказывать — увеличить во сто раз притягательную силу магнита. Вы понимаете, это?

— Да.

— Очень хорошо. Вы знаете также, что современные летательные снаряды делаются из стали или, по крайней мере, обделываются в сталь. Возможно, что вы когда-нибудь слыхали и о том, что магнит притягивает сталь. Позвольте мне теперь показать вам маленький опыт.

Он наклонился над своим аппаратом и я внезапно услышал треск электричества.

— Это, — продолжал он, подойдя к ящику, — салонный пистолет, который в следующем столетии будут выставлять в музеях, как оружие, возвестившее новую эру. Я вставляю в него патрон с стальной пулей специально для экспериментальных целей. Целюсь в кружок сургуча на стене на четыре дюйма выше магнита. Я стреляю без промаха. Стреляю. Теперь подождите и убедитесь, что пуля сплюснулась о магнит, а затем оправдайте передо мной ваш смех.

Я подошел и убедился, что вышло так, как он сказал.

— Теперь я вам скажу, какой мы сделаем опыт, — крикнул он. — Я помещу магнит в шляпу Гетти, а вы стреляйте ей в лицо шесть раз подряд. Каков опыт? Ты не откажешься, Гетти? А, что?

Я думаю, что она не отказалась бы, но я поспешил заявить, что наотрез отказываюсь от такого опыта.

— Ну, еще бы, вы видите, что спорить не о чем. Мой военный корабль снабжен на носу и на корме магнитами, которые во столько же раз больше этого, во сколько пушечное ядро больше пули. Вот он вступает в дело. Что же выходит, Монро? А, что? Каждое ядро, пущенное в мой корабль, расплющивается, когда разомкнут ток. После каждого дела их продают с аукциона, как железный лом, а вырученные деньги делят в качестве премии между экипажем. Вы только представьте себе это, старина. Я вам говорю, что для ядра нет абсолютно никакой возможности задеть корабль, снабженный моим аппаратом. А дешевизна-то! Нет надобности в броне. Ничего не нужно. Всякий корабль становится неуязвимым с моим аппаратом. Военный корабль будущего обойдется примерно в семь фунтов десять шиллингов. Вы опять смеетесь, но дайте мне магнит и лодку с семифунтовым орудием, и я уничтожу лучший военный корабль.

— Тут что-нибудь не так, — заметил я. — Если ваш магнит силен, то не будет ли он притягивать обратно и ваши ядра?

— Ничуть! Огромная разница между ядром, вылетающим от вас со всей его колоссальной начальной скоростью, и ядром, которое прилетает к вам и требует только легкого уклонения, чтобы упасть на магнит. Кроме того, прерывая ток, я могу прекратить

влияние магнита, когда сам стреляю. Затем замыкаю ток, и моментально становлюсь неуязвимым.

— А ваши гвозди и железные скрепы?

— Корабль будущего будет весь из дерева.

Весь вечер он не говорил ни о чем другом, кроме своего изобретения. Может быть оно ничего не стоит — и вероятно ничего не стоит, — но все же разностороннюю природу этого человека характеризует то обстоятельство, что он не сказал ни слова о своем феноменальном успехе здесь. (О чем, конечно, мне всего интереснее было бы услышать, — ни слова о важном пункте моего участия в деле), но думал и говорил только о своей необычайной морской идее. Через неделю он по всей вероятности бросит ее и займется планом переселения евреев на Мадагаскар. Но все, что он говорил и что я видел, не оставляет сомнения в том, что он действительно добился каким-то необъяснимым способом чудовищного успеха, и завтра я все это разужаю. Что бы ни случилось, я рад, что приехал, так как дело обещает быть интересным. Считайте это не окончанием письма, а окончанием параграфа. Завтра или самое позднее в четверг напишу вам заключение. Всего хорошего, передайте мой привет, Лауренсу, если увидите его.

Письмо шестое

Бреджильд, 9 марта 1882 г.

Как видите, я верен моему слову, Берти, и вот вам подробный отчет об этом странном образчике реальной жизни.

Проснувшись утром, и видя вокруг себя голые стены и умывальную чашку на ящике, я с трудом сообразил, где я нахожусь. Колингворт, впрочем, не замедлил явиться, в халате, и заставил меня встать, упершись руками в заднюю спинку кровати и перекувыркнувшись через нее, так что его пятки очутились на моей подушке. Он был в самом веселом настроении духа и, усевшись на корточки на кровати, принялся развивать свои планы, пока я одевался.

— Я скажу вам, что я намерен прежде всего сделать, Монро, — начал он. — Мне нужно иметь собственную газету. Мы откроем еженедельную газету, вы да я, и распространим ее по всей округе. У нас будет свой собственный орган, как у каждого французского политика. Если кто-нибудь выступит против нас, мы зададим ему такого трезвона, что он жизни не рад будет. А, что, парень? Что вы об этом думаете? Такую умную, Монро, что всякий будет обязан прочесть ее, и такую ядовитую, чтобы пальцы жгла. Что вы думаете, не сумеем?

— Какая же политическая программа? — спросил я.

— О, к черту политику! Перцу побольше, перцу, — вот моя идея газеты. Назовем ее «Скорпион». Будем пробирать мэра и муниципальный совет, пока они не созовут собрания и не решат повеситься. Я буду писать боевые статьи, а вы рассказы и стихи, Я думал об этом всю ночь и поручил Гетти написать в типографию, узнать, во что обойдется печатание. Через неделю мы можем выпустить номер.

— Час от часу не легче! — пробормотал я.

— Начните повесть сегодня же. В первое время у вас будет немного пациентов, так что досуга окажется достаточно.

— Но я в жизнь свою не написал ни строчки.

— Нормальный человек может сделать все, за что ни возьмется. Он носит в себе задатки всевозможных способностей, и нужно только желание развить их.

— Вы можете сами написать повесть? — спросил я.

— Разумеется, мог бы. Такую повесть, Монро, что когда читатели кончат первую главу, то будут изнывать от нетерпения прочесть вторую. Они будут толпиться у моих дверей в

надежде услышать, что случится дальше. Черт побери, пойду и начну немедленно!

И, перекувыркнувшись снова через спинку кровати, он ринулся вон из комнаты.

Боюсь, что вы пришли к заключению, что Колингворт просто интересный патологический объект, — человек на первой стадии помешательства или паралича мозга. Вы не подумали бы этого, если б имели с ним дело. Он оправдывает свои самые сумасбродные выходки своими делами. Это кажется нелепым, когда написано черным по белому, но год тому назад показалось бы нелепым, если б он сказал, что создаст себе колоссальную практику менее чем в год. И однако же он ее создал. Нет, вы не должны выводить из моего письма ложного мнения о его способностях, действительно исключительных. С другой стороны было бы нечестно с моей стороны отрицать, что я считаю его человеком совершенно беззастенчивым и полным зловещих черт. Он может как подняться на высоту, так и свалиться в пропасть.

После завтрака мы уселись в карету и отправились в место приема больных.

— Вас, вероятно, удивляет, что Гетти отправилась с нами, — сказал Колингворт, хлопнув меня по колену. — Гетти, Монро удивляется, за каким чертом ты торчишь здесь, только он слишком вежлив, чтобы спросить об этом.

В самом деле мне показалось странным, что она сопровождает нас на практику.

— Увидите, когда придем, — сказала она, смеясь. — Мы ведем это дело сообща.

Ехать было недалеко, и мы вскоре очутились перед квадратным выбеленным зданием с надписью «Доктор Колингворт» на большой медной доске над подъездом. Внизу было напечатано «Дает советы бесплатно от десяти до четырех». Дверь была открыта, и заглянув в нее, я увидел в приемной толпу народа.

— Много ли сегодня? — спросил Колингворт у лакея.

— Сто сорок, сэр.

— Все комнаты полны?

— Да, сэр.

— И двор?

— Да, сэр.

— И конюшня?

— Да, сэр.

— И сарай?

— В сарае еще есть место, сэр.

— Эх, жаль, что вы не видали, какая тут была толпа за день до вашего приезда, Монро. Конечно, это не от нас зависит, остается принимать то, что есть. Ну, ну, дайте дорогу, вы! (Это относилось к пациентам). Идите сюда и посмотрите приемную. Фу! Что за атмосфера! Неужели вы не можете отворить окно? Что за народ! Тридцать человек в комнате, Монро, и ни один не догадается отворить окно, чтоб избавиться от духоты.

— Я пробовал, сэр, да задвижки не отодвигаются. — крикнул один из посетителей.

— Э, милейший, вы ничего не добьетесь в свете, если не умеете отворить окно иначе, как отодвинуть задвижку, — сказал Колингворт, хлопнув его по плечу. Он взял у него зонтик и разбил два стекла в окне.

— Вот вам способ! — сказал он. — Ну, Монро, идем, и за работу.

Мы поднялись, наверх по деревянной лестнице, оставляя за собой комнаты, переполненные, насколько я мог видеть, народом. Вверху оказался коридор, на одном конце которого были две комнаты, одна против другой, на другом же только одна комната.

— Вот мой кабинет, — сказал он, — введя меня в одну из комнат.

Это была большая квадратная комната, почти пустая; в ней находились только пара простых деревянных стульев и некрашеный стол, на котором лежали две книги и стоял стетоскоп.

— Это не похоже на четыре или пять тысяч фунтов в год, а? Ну, вот, напротив совершенно такая же комната для вас. Я буду посылать к вам таких пациентов, которым потребуется хирургическая помощь. Сегодня, однако, мне кажется, вам лучше посидеть со

мной, посмотреть, как я обделываю дела.

— Мне бы очень хотелось видеть это, — сказал я.

— В отношении пациентов необходимо соблюдать одно или два элементарных правила, — заметил он, сидя на столе и болтая ногами. — Первое и самое очевидное: ни под каким видом не давать им заметить, что вы нуждаетесь в них. Вы принимаете их единственно из снисхождения; и чем больше вы затрудняете им доступ к вам, тем более высокого мнения они будут о вас. Роковая ошибка — быть вежливыми с ними. Многие молодые люди впадают в нее и терпят фиаско. Вот моя манера...

Он бросился к двери, приставил ко рту ладони и гаркнул:

— Вы, там, перестаньте болтать. Точно подо мной курятник! Видите, — прибавил он, обращаясь ко мне, — это возвысит их мнение обо мне.

— Но разве они не обижаются? — спросил я.

— Боюсь, что нет. Мои манеры уже известны, и они знают, на что идут. Но оскорбленный пациент — я подразумеваю серьезно оскорбленный — лучшая реклама в мире. Если это женщина, она будет трещать у своих знакомых, пока ваше имя не сделается почти родным для них, и все они будут сочувствовать ей; а между собой говорить, что вы замечательно проницательный человек. Я повздорил с одним субъектом из-за состояния его желчного протока и в конце концов спустил его с лестницы. Что же вышло? Он наболтал обо мне столько, что вся его деревня, больные и здоровые, перебивали у меня. Такова человеческая природа, и вы не в силах переделать ее. А, что? Вы цените себя дешево — и другие будут ценить вас дешево. Вы цените себя высоко — и другие оценят вас высоко.

— На доске написано, что вы даете советы бесплатно.

— Да, но пациенты должны платить за лекарство. Если же пациент желает быть освидетельствован вне очереди, он должен заплатить полгинеи. Таких бывает человек двадцать ежедневно. Только, Монро, не впадайте в недоразумение. Все бы это ни к чему не повело, если б не было солидной основы: я вылечиваю их. В этом суть. Я берусь за таких больных, от которых отказываются другие, и вылечиваю их. Все остальное имеет целью заманить их сюда. Но раз они здесь, я отношусь к ним серьезно. Без этого все вздор. Теперь пойдем, посмотрим отделение Гетти.

Мы прошли по коридору в другую комнату. Она была превращена в аптеку, и в ней сидела в шикарном переднике миссис Колингворт и делала пилюли. Засучив рукава, среди склянок и бутылочек, она забавлялась, как ребенок среди игрушек.

— Лучший фармацевт в мире! — воскликнул Колингворт, ударив ее по плечу. — Видите, как мы действуем, Монро. Я пишу рецепты и ставлю на нем значок, показывающий, сколько нужно взять за лекарство. Пациент отправляется с этим рецептом через коридор и подает его в окошечко. Гетти выдает лекарство и получает деньги. Теперь пойдем очищать дом от этих господ...

Я не сумею дать вам представление о веренице пациентов, один за другим проходивших через кабинет и направлявшихся — одни веселые, другие испуганные — через коридор, с рецептами в руках. Приемы Колингворта были вне всякого вероятия. Я хохотал так, что боялся, как бы стул не развалился подо мною. Он рычал, бесновался, ругался, выталкивал пациентов, хлопал их по спине, стучал ими об стену, а по временам выбегал на лестницу и обращался к ним en masse. В то же время, следя за его предписаниями, я не мог не заметить быстроты диагноза, проницательности ученого, смелого и необычного применения лекарств, и должен был согласиться, что он был прав, утверждая, что его прикрывают солидные основания успеха.

Некоторым из пациентов он и сам не говорил ни слова, и им не позволял молвить слово. С громогласным «цыц» он бросался на них, хватал их за шиворот, выслушивал, писал рецепт, а затем, схвативши их за плечи, выталкивал в коридор. Одну бедную старушку он совсем оглушил своим криком. «Вы пьете слишком много чаю! — орал он. — Вы страдаете чайным отравлением». Затем, не дав ей сказать слова, потащил ее к столу и положил перед ней «Врачебное законодательство» Тайлора. «Кладите вашу руку на эту книгу, — гремел он

— и клянитесь, что вы две недели не будете пить ничего, кроме какао». Она поклялась, возведя очи горе, и тотчас была выпровожена с рецептом. Я могу себе представить, что эта старушка до конца дней своих будет рассказывать о том, как она была у Колингворта; и понимаю, что деревня, в которой она живет, пришлет к нему новых пациентов.

Другой грузный субъект был схвачен за шиворот, вытащен из комнаты, потом вниз по лестнице, и в заключение на улицу, к великой потехе остальных пациентов. «Вы едите слишком много, пьете слишком много и спите слишком много, — крикнул ему вслед Колингворт. — Сшибите с ног полисмена, и когда вас выпустят, приходите обратно».

Когда в половине пятого был выпровожен последний пациент и мы подсчитали в аптеке сбор, всего оказалось тридцать два фунта восемь шиллингов и шесть пенсов.

Мы отправились домой, и это возвращение показалось мне самой экстраординарной частью этого экстраординарного дня. Колингворт торжественно шествовал по главным улицам, держа в вытянутой руке полный кошелек. Жена его и я шли по бокам, словно двое служак, поддерживающих жреца. Прохожие останавливались поглазеть на наше шествие.

— Я всегда прохожу через докторский квартал, — сказал Колингворт. — Теперь мы идем через него. Они все сбегаются к окнам, скрежещут зубами и беснуются.

— Зачем же ссориться с ними? Почему не наживать деньги своей практикой, оставаясь в то же время в добрых отношениях с своими собратьями по профессии? — спросил я. — Или вы думаете, что эти две вещи несовместимы?

— Несовместимы. Зачем играть комедию? Мои приемы все непрофессиональны, и я нарушаю правила медицинского этикета так часто, как только могу. Весь этот этикет придуман только для того, чтобы удерживать всю практику в руках стариков, — чтобы оттереть молодежь и не дать ей протиснуться вперед. А, Монро, что вы скажете на это?

Я мог ответить только, что, по моему мнению, он слишком низко ценит свою профессию, и что я совершенно не согласен с ним?

— Ну, дружище, вы можете не соглашаться, сколько вам угодно, но если вы хотите работать со мной, то должны послать этику к черту.

— Этого я не могу сделать.

— Ну, если вы такой белоручка, то можете и отчаливать. Мы не можем удерживать вас насильно.

Я ничего не ответил; но вернувшись домой, уложил чемодан, решив вернуться в Йоркшир с ночным поездом. Колингворт вошел в мою комнату и, увидав мои сборы, рассыпался в извинениях, которые удовлетворили бы и более щекотливого человека, чем я.

— Действуйте, как вам заблагорассудится, дружище. Если вам не нравится мой путь прокладывайте свой.

Таким образом дело уладилось, но я очень опасаясь, Берги, что это только начало целой вереницы столкновений. Я предчувствую, что рано или поздно мое положение здесь станет невыносимым. Во всяком случае попытаюсь выдержать как можно дольше. Вечером случилось маленькое происшествие, настолько характерное, что я должен рассказать вам о нем. У Колингворта есть духовое ружье, стреляющее маленькими стрелками. С ним он практикуется на расстоянии двадцати футов: длина задней комнаты. Мы стреляли в цель, и он спросил меня, согласен ли я держать полпенни между большим и указательным пальцем, с тем, чтобы он выстрелил в него. Так как полпенни не оказалось под рукой, то он достал из жилетного кармана бронзовую медаль, и я стал держать ее вместо цели. «Клинг»! — последовал выстрел, и медаль покатилась по полу.

— В самый центр, — сказал он.

— Напротив, — ответил я, — вы совсем не попали в нее.

— Совсем не попал? Должен был попасть.

— Уверяю вас, нет.

— Где же стрела в таком случае?

— Вот она, — сказал я, показывая ему окровавленный палец, из которого торчала стрелка.

Я никогда в жизни не видел человека в таком отчаянии. Он осыпал себя такими упреками, точно отстрелил мне руку. Миссис Колингворт побежала за теплой водой, стрелка была извлечена щипцами и палец перевязан.

Пока шла возня с пальцем (Колингворт все время стонал и корчился), взгляд мой случайно упал на медаль валявшуюся на ковре. Я поднял ее и прочел надпись: «Джэмсу Колингворту за спасение погибающих. Янв. 1879».

Он в ту же минуту вернулся к своим чудачествам.

— Что? Медаль? Разве у вас нет? Я думал, у каждого есть такая. Это был маленький мальчик. Вы не можете себе представить сколько хлопот мне было бросить его в воду.

— Вы хотите сказать, вытащить из воды.

— Милейший, вы и впрямь не понимаете, в чем дело! Всякий может вытащить из воды ребенка. Бросить в воду, — вот в чем затруднение. За это выдают медаль. Затем нужны свидетели, которым приходится платить четыре шиллинга в день и кварту пива по вечерам. Нельзя же просто схватить ребенка, притащить его на мост, и швырнуть в воду. Приходится водиться с родителями. Приходится вооружаться терпением и ждать подходящего случая, Я схватил ангину, прогуливаясь взад и вперед по Авонмутскому мосту, прежде чем подвернулся удобный случай. Это был глупый толстый мальчишка, сидел он на самом краю и удил рыбу. Я поддал ему сзади ногой, и он отлетел на невероятное расстояние. Вытащить его было трудно, потому что его удочка дважды обернулась вокруг моих ног. Однако все обошлось благополучно. Мальчик явился ко мне на другой день благодарить и сказал, что он нисколько не пострадал, если не считать синяка на пояснице. Родители его посылают мне домашнюю птицу каждое Рождество.

Я сидел, опустив палец в теплую воду, и слушал его болтовню. Кончив, он побежал за табаком, и мы слышали раскаты его хохота на лестнице. Я все еще рассматривал медаль, которая, судя по оставшимся на ней следам, часто служила мишенью, когда почувствовал, что кто-то тихонько дергает меня за рукав; это была миссис Колингворт, которая серьезно смотрела на меня с очень грустным выражением на лице.

— Вы слишком серьезно относитесь к тому, что говорит Джэмс, — сказала она. — Вы не вполне знаете его, мистер Монро. Вы не хотите посмотреть на вещи с его точки зрения, а без этого вы никогда не поймете его. Не то чтобы он говорил неправду, но фантазия его возбуждается, и юмористическая сторона идеи увлекает его, — все равно, говорит ли он против себя, или против других. Мне грустно видеть, мистер Монро, что единственный человек в мире, к которому он питает дружбу, до такой степени неверно понимает его, так как часто, когда вы молчите, ваше лицо ясно говорит о том, что вы думаете.

Я мог только ответить, что очень сожалею, если неправильно сужу о ее муже в каком бы то ни было отношении, и что вряд ли кто выше меня ценит некоторые его качества.

— Я видела выражение вашего лица, когда он рассказывал нелепую историю о мальчишке, которого будто бы сбросил в воду, — продолжала она, и с этими словами протянула мне клочок газеты. — Вот, прочтите это, мистер Монро.

Это была газетная вырезка с описанием случая с ребенком. Достаточно сказать, что все произошло совершенно случайно, и что Колингворт действительно вел себя геройски, и был вытащен из воды без чувств вместе с ребенком, которого держал так крепко, что освободить его удалось только после того, как его привели в чувство. Я доканчивал чтение, когда мы услышали его шаги на лестнице, и она выхватила у меня листок, спрятала его на груди, и мгновенно превратилась в прежнюю безмолвную, осторожную женщину.

Письмо седьмое

Бреджилльд, 6 апреля 1882 г.

Мне всегда кажется, дорогой Берти, что я имею сообщить вам целую кучу вещей, а как

начнешь соображать, выходит, в конце концов, очень немного.

Прежде всего, о практике. Я говорил вам, что моя комната помещается против комнаты Колингворта и что мне передаются все хирургические случаи. В течение нескольких дней мне было нечего делать; оставалось только слушать как он воюет с пациентами или разносит их с площадки лестницы. Как бы то ни было, доска с надписью «Д-р Старк Монро, хирург», была прибита подле входной двери, против доски Колингворта; и я не без гордости посматривал на нее. На четвертый день явился больной. Он, конечно, не подозревал, что он первый больной, с которым я имею дело в жизни. Иначе, он вероятно выглядел бы не так весело.

Бедняга, у него было мало поводов для веселья. Это был старый солдат, потерявший почти все зубы, но находивший еще достаточно места между носом и подбородком для помещения короткой глиняной трубочки. Недавно у него появилась на носу маленькая язва, она разрослась и покрылась коркой. На ощупь она казалась твердой, как полоска столярного клея, прикосновение к ней вызывало жгучую боль. Разумеется диагноз не представлял никаких затруднений. Это был эпитемоматочный рак, вызванный раздражением от табачного дыма. Я отправил его обратно в деревню, а спустя два дня съездил туда в колингвортовском шарабане и сделал операцию. Получил всего соверен, но все же это может составить ядро будущей практики. Это была моя первая операция, и я волновался больше, чем мой пациент, но результат меня ободрил.

Пациенты стали понемногу являться изо дня в день — все очень бедный народ плативший очень мало, — но я и тем был рад. В первую неделю я собрал (считая и операцию рака) фунт семнадцать шиллингов и шесть пенсов. За вторую ровно два фунта. За третью, два фунта пять шиллингов, а последняя принесла мне два фунта восемнадцать шиллингов; стало быть, я подвигался вперед. Конечно, это смехотворный заработок в сравнении с колингвортовскими двадцатью фунтами в день, и моя тихая комната представляла странный контраст с толчеей в его кабинете. Но все-таки я вполне удовлетворен, и думаю, что его оценка триста фунтов в первый год не была преувеличена. Приятно было бы думать, что если что-нибудь случится в семье, я могу оказаться ей полезным. Если дело пойдет, как оно началось, я скоро приобрету прочное положение.

Между прочим, мне предложили место, которое несколько месяцев тому назад было бы верхом моего честолюбия. Вы знаете (вероятно, я писал вам об этом), что тотчас по окончании курса я позаботился занести свою фамилию в список кандидатов на должность корабельного врача различных крупных компаний. Это было сделано без надежды на успех, так как кандидату обыкновенно приходится ждать несколько лет, пока до него дойдет очередь. И вот, пробыв здесь всего неделю, я получил однажды ночью телеграмму из Ливерпуля: «Явитесь на Децию завтра в качестве врача не позднее восьми вечера». Телеграмма была от знаменитой южно-американской фирмы «Тауптон и Мериваль»; «Деция» — пассажирский пароход водоизмещением в 6000 тонн, делающий рейсы из Бахии и Буэнос-Айреса в Рио и Вальпарайзо. Я пережил мучительные четверть часа. Никогда в жизни, кажется, не случалось мне находиться в таком состоянии нерешительности. Колингворт из кожи лез, стараясь отговорить меня, и его влияние одержало верх.

— Дружище, — говорил он, — вы собьете с ног старшего помощника, а он отделает вас ганшугом. Вас привяжут за пальцы к снастям. Вы будете питаться вонючей водой и гнилыми сухарями. Я знаю, я читал повесть о торговом мореплавании.

Когда я посмеялся над его идеями о современном мореплавании, он стал играть на другой струнке.

— Вы окажетесь глупее, чем я думал, если примете предложение. Ну, к чему оно вас приведет? Всех денег, которые вы заработаете, хватит вам разве на то, чтобы купить голубую куртку и отделать ее галуном. Вы будете ездить в Вальпарайзо, а приедете в конце концов в богадельню. Тут вам открывается редкая карьера, вы никогда не найдете другого такого случая. Кончилось тем, что я телеграфировал, что не могу приехать. Странное чувство, когда ваш жизненный путь раздваивается, и вы выбираете то или другое

направление, после тщетных попыток решить, которое надежнее. В конце концов, я думаю, что поступил правильно. Корабельный врач всю жизнь должен оставаться корабельным врачом, здесь же открываются безграничные перспективы.

Что касается Колингворта, то он шумит так же весело, как всегда. Вы говорите в своем последнем письме, что не понимаете, каким образом ему удалось в такое короткое время сделать свое имя известным публике. Этот пункт мне самому было очень трудно выяснить. Он сообщил мне, что после водворения здесь у него не было ни одного пациента в течение целого месяца, так что он приходил в отчаяние. Наконец, подвернулись несколько больных, — и он так чудесно вылечил их, или, по крайней мере, произвел на них такое впечатление своей эксцентричностью, что они только о нем и говорили. О некоторых его исцелениях было напечатано в местных газетах, хотя после авонмутского опыта я склонен думать, что он сам позаботился об этом. Он показывал мне очень распространенный местный календарь, в котором на обложке красовалось следующее:

Авг. 15. Биль о Реформе прошел, 1867.

Авг. 16. Рождение Юлия Цезаря.

Авг. 17. Необыкновенный случай излечения доктором Колингвортом водянки в Брэджилльде, 1881.

Авг. 18. Битва при Гравелоте, 1870.

Вы, верно, находите, что я слишком много пишу об этом молодце и слишком мало о других; но дело в том, что я никого больше не знаю, и что круг моих сношений ограничивается пациентами, Колингвортом и его женой. Они ни у кого не бывают, и у них никто не бывает. Мое поселение у них навлекло и на меня такое же табу со стороны моих собратьев докторов, хотя я ни в чем не нарушил профессиональных правил.

Скучная, тоскливая вещь — жизнь, когда не имеешь подле себя близкой души. Отчего я сижу теперь при лунном свете и пишу вам, как не оттого, что жажду сочувствия и дружбы. Я и получаю их от вас — насколько только друг может получить их от друга — и все-таки есть стороны в моей природе, которые ни жена, ни друг, никто в мире не могли бы разделить. Если идешь своим путем, то нужно ожидать, что останешься на нем одиноким.

Однако уже скоро рассвет, а мне все не спится. Холодно, и я сижу, завернувшись в одеяло. Я слышал, что это излюбленный час самоубийц, и вижу, что мои мысли приняли меланхолическое направление. Надо закончить повеселее, цитатой из последней статьи Колингворта. Я должен вам сказать, что он еще увлечен идеей основать собственную газету, и мысль его работает вовсю, изливая непрерывный поток пасквилей, виршей, социальных очерков, пародий и передовиц. Он приносит их все ко мне, так что мой стол уже загроможден ими. Вот последняя статья, которую он притащил мне, уже раздевшись. Она вызвана моими замечаниями по поводу того, как трудно будет нашим отдаленным потомкам определить значение некоторых обыкновеннейших предметов нашей культуры, и как, следовательно, нужно быть осторожным в суждениях о культуре древних римлян или египтян.

«На третьем годичном собрании Ново-Гвинейского Археологического Общества было сделано сообщение о недавних исследованиях предполагаемого местонахождения Лондона, с замечаниями о полых цилиндрах, бывших в употреблении у древних лондонцев. Некоторые из этих цилиндров или труб были выставлены в зале собрания, и посетители могли их осмотреть. Ученый докладчик предпослал своему сообщению несколько замечаний о громадном периоде времени, отделяющем нас от времен процветания Лондона, и требующем крайней осмотрительности в заключениях относительно обычаев его жителей. Новейшие исследования установили, по-видимому, с достаточной достоверностью, что окончательное падение Лондона произошло несколько позднее построения египетских пирамид. Недавно открыто большое здание неподалеку от пересохшего русла реки Темзы и, по имеющимся данным, не может быть никакого сомнения в том, что оно служило местом собраний законодательного совета древних бриттов, или англичан, как их иногда называли. Докладчик сообщил затем, что под Темзой был проведен тоннель при монархе, носившем имя Брунель,

который, по мнению некоторых авторов, был преемником Альфреда Великого. Жизнь в Лондоне, продолжал докладчик, по всей вероятности, была далеко не безопасной, так как в местности, носившей название Реджер-Парк, открыты кости львов, тигров и других вымерших хищных животных. Упомянув вкратце о загадочных предметах, известных под названием „тумбы“, рассеянных в изобилии по всему городу, и имевших, по всей вероятности, религиозное значение или обозначающих могилы английских вождей, докладчик перешел к цилиндрическим трубам. Патагонская школа видит в них систему проводников электричества, связанных с громоотводами. Он (докладчик) не может согласиться с этой теорией. Целый ряд наблюдений, потребовавших несколько месяцев работы, дал ему возможность установить важный факт, что эти трубы, если проследить их на всем протяжении, неизменно примыкают к большому полному металлическому резервуару, соединенному с печами. Никто, знающий, как преданы были древние бритты употреблению табака, не усомнится в значении этого приспособления. Очевидно, громадные количества этой травы сжигались в центральной камере, и их ароматический и наркотический дым расходился по трубам в жилища граждан, которые таким образом могли вдыхать его по желанию. Пояснив эти замечания рядом диаграмм, докладчик прибавил в заключение, что хотя истинная наука всегда осмотрительна и чужда догматизма, но тем не менее можно считать бесспорным фактом, что ей удалось всесторонне осветить жизнь древнего Лондона и нам известен теперь каждый акт повседневной жизни его граждан, от вдыхания табачного дыма по утрам до раскрашивания себя в синий цвет после вечерней кружки портера перед отходом ко сну».

В конце концов, я думаю, что это объяснение значения лондонских газовых труб не более нелепо, чем многие из наших заключений относительно пирамид или жизни Вавилонян.

Ну, покойной ночи, старина, надеюсь, что следующее письмо будет интереснее.

Письмо восьмое

Бреджилльд, 23 апреля 1882 г.

Я припоминаю, дорогой Берги, что в бестолковом письме, которое я написал вам недели три тому назад, я выразил надежду, что в следующем письме сообщу вам что-нибудь более интересное. Так оно и вышло! Все мои здешние начинания лопнули, и я перехожу на новый путь. Колингворт пойдет своей дорогой, я своей; но я рад, что между нами не произошло ссоры.

Прежде всего я должен рассказать вам о своей практике. Неделя, последовавшая за моим письмом, была не совсем удачной; я получил только два фунта. Зато следующая разом подняла мой заработок до трех фунтов семи шиллингов, а за последнюю неделю я получил три фунта десять шиллингов. Так что, в общем, дело неизменно подвигалось вперед, и мне казалось, что мой путь ясен, как вдруг все разом сорвалось. Были причины, впрочем, которые избавили меня от слишком сильного разочарования, когда это случилось: их я должен вам объяснить.

Я, кажется, упоминал, когда писал вам о моей милой старой матушке, что у нее очень высокое понятие о фамильной чести. Я часто слышал от нее (и убежден, что она действительно так думает), что она скорее бы согласилась видеть любого из нас в гробу, чем узнать, что он совершил бесчестный поступок. Да, при всей своей мягкости и женственности, она становится жесткой как сталь, если заподозрит кого-нибудь в низости; и я не раз видел, как кровь приливала к ее лицу, когда она узнавала о каком-нибудь скверном поступке.

Так вот, относительно Колингворта она слышала кое-что, пробудившее в ней антипатию к нему в то время, когда я только что познакомился с ним. Затем произошло

Авонмутское банкротство, и антипатия матушки усилилась. Она была против моего переселения к нему в Бреджилд, и только моим быстрым решением и переездом я предупредил формальное запрещение. Когда я водворился здесь, ее первый вопрос (после того, как я сообщил ей об их процветании) был: уплатили ли они Авонмутским кредиторам. Когда я ответил, она написала мне, умоляя вернуться и прибавляя, что как ни бедна наша семья, но еще ни один из ее членов не падал так низко, чтобы входить в деловое товарищество с человеком бессовестного характера и с сомнительным прошлым. Я отвечал, что Колингворт говорит иногда об расплате с кредиторами, что миссис Колингворт тоже за нее, и что мне кажется неразумным требовать, чтобы я пожертвовал хорошей карьерой из-за обстоятельств, которые меня не касаются. В ответ на это матушка написала мне довольно резкое письмо, в котором высказывала свое мнение о Колингворте, что в свою очередь вызвало с моей стороны письмо, в котором я защищал его и указывал на некоторые глубокие и благородные черты в его характере. На это она опять-таки отвечала еще более резкими нападениями; и, таким образом, завязалась переписка, в которой она нападала, я защищал, и в конце концов между нами, по-видимому, произошел серьезный разлад.

Отец, судя по содержанию коротенького письма, которое я получил от него, считал все дело абсолютно несостоятельным и отказывался верить моим сообщениям о практике и рецептах Колингворта. Вот эта-то двойная оппозиция со стороны тех именно людей, чьи интересы я главным образом имел в виду во всем этом деле, была причиной того, что мое разочарование, когда дело лопнуло, было не слишком сильно. Правду сказать, я готов был и сам покончить с ним, когда судьба сделала это за меня.

Теперь о Колингвортах. Мадам приветлива по-прежнему, и тем не менее, если я не обманываюсь, в ее чувствах ко мне произошла какая-то перемена. Не раз, внезапно взглянув на нее, я подмечал далеко не дружелюбное выражение в ее глазах. В двух-трех мелких случаях я встретил с ее стороны сухость, какой не замечал раньше. Не оттого ли это, что я вмешивался в их семейную жизнь? Не стал ли я между мужем и женой? Разумеется, я всячески старался избежать этого с помощью той небольшой дозы такта, которой обладаю. Тем не менее, я часто чувствовал себя в ложном положении.

Со стороны Колингворта я замечал иногда то же самое: но он такой странный человек, что я никогда не придавал особенного значения переменам в его настроении. Иногда он глядит на меня разъяренным быком, а на мой вопрос, в чем дело, отвечает: «О, ничего!» — и поворачивается спиной. Иногда же он дружелюбен и сердечен почти до излишества, так что я невольно спрашиваю себя, не играет ли он роль.

Однажды вечером мы зашли в Центральный ОТЕЛЬ сыграть партию на бильярде. Мы играем почти одинаково и могли бы провести время весело, если б не его странный характер. Он весь день был в мрачном настроении духа, делал вид, что не слышит моих вопросов, или давал отрывистые ответы, и смотрел тучей. Я решил не заводить ссоры, и потому игнорировал все его задиранья, что однако не умиротворило его, а подстрекнуло к еще более грубым выходкам. Под конец игры он придрался к одному моему удару, находя его неправильным. Я обратился к маркеру, который согласился со мной. Это только усилило его раздражение, и он внезапно разразился самыми грубыми выражениями по моему адресу. Я сказал ему: «Если вы имеете что-нибудь сказать мне, Колингворт, выйдем на улицу. Не совсем удобно вести такой разговор в присутствии маркера». Он поднял кий, и я думал — ударит меня; однако он с треском швырнул его на пол и бросил маркеру полкроны. Когда мы вышли на улицу, он начал говорить в таком же оскорбительном тоне, как раньше.

— Довольно, Колингворт, — сказал я. — Я уже выслушал больше, чем могу вынести.

Мы стояли на освещенном месте перед окном магазина. Он взглянул на меня, потом взглянул вторично, в нерешимости. Каждую минуту я мог оказаться в отчаянной уличной драке с человеком, который был моим товарищем по медицинской практике. Я не принимал вызывающей позы, но держался наготове. Вдруг, к моему облегчению, он разразился хохотом (таким громогласным, что прохожие на другой стороне улицы останавливались) и, схватив меня под руку, потащил по улице.

— Чертовский у вас характер, Монро, — сказал он. — Ей богу, с вами небезопасно ссориться. Я никогда не знаю, что вы будете делать в следующую минуту. А, что? Но вы не должны сердиться на меня; ведь я искренне расположен к вам, и вы в этом сами убедитесь.

Я рассказал вам эту вульгарную сцену, Бerti, чтоб показать странную манеру Колингворта затевать со мной ссоры: внезапно, без малейшего вызова с моей стороны, он принимает со мной самый оскорбительный тон, а затем, когда видит, что мое терпение истощилось, обращает все в шутку. Это повторялось уже не раз в последнее время, и в связи с изменившимся отношением ко мне миссис Колингворт, заставляет меня думать, что есть какая-нибудь причина этой перемены. Какая — об этом я, ей-богу, знаю столько же, сколько вы. Во всяком случае, это охлаждение с одной стороны, а с другой моя неприятная переписка с матушкой часто заставляла меня сожалеть, что я не принял места, предлагавшегося Южно-Американской компанией.

Теперь сообщу вам о том, как произошла великая перемена в моем положении.

Странное, угрюмое настроение Колингворта по-видимому достигло кульминационного пункта сегодня утром. По дороге на прием я не мог добиться от него ни единого слова. Дом был буквально битком набит пациентами, но на мою долю пришлось меньше обыкновенного. Покончив с ними, я стал дожидаться обычного шествия с кошельком.

Прием у него кончился только в половине четвертого. Я слышал его шаги по коридору, спустя минуту он вышел в мою комнату и с треском захлопнул дверь. С первого же взгляда я понял, что произошел какой-то кризис.

— Монро, — крикнул он, — практика идет к черту!

— Что? — сказал я. — Каким образом?

— Она мельчает, Монро. Я сравнивал цифры, и знаю, что говорю. Месяц тому назад я получал шестьсот фунтов в неделю. Затем цифра упала до пятисот восьмидесяти; затем до пятисот семидесяти пяти, а сегодня до пятисот шестидесяти. Что вы думаете об этом?

— Сказать по правде, думаю очень мало, — отвечал я. — Настает лето. Вы теряете все кашли, и простуды, и воспаления горла. Всякая практика терпит ущерб в это время года.

— Все это очень хорошо, — сказал он, шагая взад и вперед по комнате, засунув руки в карманы и нахмутив свои густые косматые брови. — Вы можете так объяснить, но я приписываю это совершенно иной причине.

— Какой же?

— Вам.

— Как так? — спросил я.

— Ну, — сказал он, — вы должны согласиться, что это весьма странное совпадение — если это совпадение: с того самого дня, как мы прибили доску с вашей фамилией, моя практика идет на убыль.

— Мне очень прискорбно думать, что я тому причиной, — отвечал я. — Чем же могло повредить вам мое присутствие?

— Скажу вам откровенно, дружище, — сказал он с той принужденной улыбкой, в которой мне всегда чудилась насмешка. — Как вы знаете, многие из моих пациентов простые деревенские люди, полуидиоты в большинстве случаев, но ведь полукрона идиота не хуже всякой другой полукроны. Они являются к моему подъезду, видят два имени и говорят друг другу: «Теперь их тут двое. Мы идем к доктору Колингворту, но коли мы войдем, то нас, пожалуй, предоставят доктору Монро». И кончается это иной раз тем, что они вовсе не входят. Затем — женщины. Женщинам решительно нет дела до того, Соломон ли вы или беглый из сумасшедшего дома. С ними все личное. Или вы обработаете их, или не обработаете. Я-то умею их обрабатывать, но они не станут приходить, если будут думать, что их передадут другому. Вот почему мои доходы падают.

— Ну, — сказал, — это нетрудно поправить.

Я вышел из комнаты и спустился с лестницы в сопровождении Колингворта и его жены. На дворе я достал большой молоток и направился ко входной двери, причем парочка следовала за мной по пятам. Я подсунул тонкий конец молотка под свою доску и сильным

движением оторвал ее от стены, так что она со звоном упала на тротуар.

— Вот и все, Колингворт, — сказал я. — Я очень обязан вам и вам, миссис Колингворт, за всю вашу любезность и добрые желания. Но я приехал сюда не для того, чтобы лишать вас практики, и после того, что вы сказали мне, я нахожу невозможным оставаться здесь.

— Ну, дружище, — сказал он, — я и сам склонен думать, что вам лучше уехать; то же думает и Гетти, только она слишком вежлива, чтобы сказать это.

— Пора уже объясниться откровенно, — отвечал я, — и мы можем, я думаю, понять друг друга. Если я повредил вашей практике, то, поверьте, искренно сожалею об этом, и готов сделать все, что могу, чтобы поправить дело. Больше мне нечего сказать.

— Что же вы намерены предпринять? — спросил Колингворт.

— Я или отправлюсь в плавание, или попытаюсь начать практику на свой риск.

— Но у вас нет денег.

— У вас тоже не было, когда вы начинали.

— Ну, это совсем другое дело. Впрочем, вы можете быть правы. Трудненько вам будет вначале.

— О, я вполне приготовлен к этому.

— Но все же, Монро, я чувствую себя до некоторой степени ответственным перед вами, так как ведь это я убедил вас отказаться от места на корабле.

— Это было прискорбно, но что же поделаешь!

— Мы должны сделать, что можем. Я вам скажу, что я намерен сделать. Я говорил об этом с Гетти сегодня утром, и она согласна со мной. Если бы мы выдавали вам по фунту в неделю, пока вы встанете на свои ноги, то это помогло бы вам начать собственную практику, а затем вы уплатите нам, когда дело пойдет на лад.

— Это очень любезно с вашей стороны, — сказал я. — Если вы согласны подождать, то я немного пройду и подумаю обо всем этом.

Итак, Колингворты на этот раз совершали свое шествие с кошельком без меня, а я прошел в парк, сел на скамейку, закурил сигару и обдумал все дело. В глубине души я не верил, что Колингворт поднял тревогу из-за такой пустой убыли. Это не могло быть причиной его желания отделаться от меня. Без сомнения, я стеснял их в домашней жизни, и он придумал предлог. Но какова бы ни была причина, ясно было одно, — что всем моим надеждам на хирургическую практику, которая должна была развиваться параллельно общей, пришел конец навсегда.

Затем я обсудил вопрос, могу ли принять деньги от Колингворта. Поддержка была невелика, но безумием было бы начинать практику без нее, — так как я отослал семье все, что сберег у Гортон. У меня было всего-навсего шесть фунтов. Я рассудил, что эти деньги не составляют расчета для Колингворта с его огромными доходами, для меня же имеют большое значение. Я верну их ему через год, самое большее два. Быть может дело пойдет так успешно, что я в состоянии буду обойтись без них в самом начале. Без сомнения, только посулы Колингворта насчет моей будущей практики в Бреджилде заставили меня отказаться от места на «Деции». Следовательно, мне нечего стесняться принять от него временную помощь. По возвращении домой я сказал ему, что принимаю предложение и благодарю за великодушие.

— Отлично, — сказал он. — Гетти, милочка, раздобудь-ка нам бутылочку шипучего. Мы выпьем за успех нового предприятия Монро.

Давно ли, кажется, мы пили за мое вступление в долю, и вот уже пьем за успех моего отказа от нее! Боюсь, что при второй выпивке обе стороны были искренни.

— Теперь мне надо решить, где я начну дело, — заметил я. — Мне бы хотелось найти хорошенький городок, где все жители богаты и больны.

— Я полагаю, что вы не думаете основаться здесь, в Бреджилде? — спросил Колингворт.

— Конечно, нет, если я мешал вам как дольщик, то тем более буду мешать как соперник. Ведь, если я буду иметь успех, то только за счет вашей практики.

— Ну, — сказал он, — выбирайте же ваш город.

Мы достали атлас и открыли карту Англии. Она была усеяна городами и местечками густо, точно веснушками, но у меня не было никакой руководящей нити для выбора.

— Мне кажется, надо выбирать довольно большой город, чтоб было место для расширения практики, — сказал я.

— Не слишком близко от Лондона, — прибавила миссис Колингворт.

— А главное, такое место, где я никого не знаю. — заметил я. — Сам я хочу пренебречь удобствами, но мне трудно будет сохранить конвенасы перед посетителями.

— Что вы думаете о Стонвеле? — сказал Колингворт, указывая мандштуком своей трубки на городок милях в тридцати от Бреджилльда.

Я никогда не слыхивал об этом местечке, но тем не менее поднял стакан.

— Итак, за Стонвель! — воскликнул я, — Завтра отправляюсь туда и посмотрю.

Мы чокнулись и таким образом дело было решено, и вы можете быть уверены, что я не замедлю прислать вам полный и подробный отчет о результатах.

Письмо девятое

Кадоганская терраса, 1. Бирчестуль, 21 мая 1882 г.

Неожиданности, мой милый старый Берти, так часто случаются в моей жизни, что перестали заслуживать это название. Вы помните, что в последнем письме я сообщал вам о моей отставке, и готовился ехать в город Стонвель, посмотреть, есть ли там хоть какая-нибудь надежда устроиться с практикой. Утром, перед завтраком, я только было начал укладываться, как кто-то тихонько постучал в мою дверь, — это была миссис Колингворт, в капоте, с распущенными волосами.

— Не сойдете ли вы вниз посмотреть Джемса, доктор Монро? — сказала она. — С ним происходило что-то странное всю ночь, и я боюсь, что он болен.

Я сошел вниз и увидел Колингворта. Лицо его было красно, глаза дикие. Он сидел на кровати, голая шея и волосатая грудь выглядывала из-под расстегнутой рубашки. Перед ним лежали на одеяле листок бумаги, карандаш и термометр.

— Чертовски интересная вещь, Монро, — сказал он. — Посмотрите-ка на запись температуры. Я отмечаю ее каждые четверть часа с того момента, как убедился, что не могу уснуть, и она то поднимается, то опускается, словно горы в географических книгах. Мы закатым лекарства — а, что, Монро? — и черт побери, перевернем все их идеи о горячках. Я напишу на основании личного опыта памфлет, после которого все их книги устареют, так что им останется только разорвать их для завертывания сандвичей.

Он говорил быстро, как человек, у которого начинается бред. Я взглянул на запись: температура была выше 102 градусов.¹ Пульс его колотился, как бешеный, под моими пальцами, кожа горела.

— Какие симптомы? — спросил я, присев на постель.

— Язык точно терка для мускатного ореха, — ответил он, высовывая его. — Головная боль в лобной части, боли в почках, отсутствие аппетита, мурашки в левом локте. Пока мы на этом и остановимся.

— Я вам скажу, что это такое, Колингворт, — сказал я. — У вас ревматическая горячка, и вам придется лечь в постель.

— Как же лечь! — заорал он. — Мне нужно освидетельствовать сто человек сегодня. Милый мой, я должен быть там, что бы со мной ни случилось. Я не для того создавал практику, чтобы уничтожить ее из-за нескольких унций молочной кислоты.

¹ По Фаренгейту.

— Джемс, милый, ты опять приобретешь ее, — сказала его жена своим воркующим голосом. — Ты должен послушаться доктора Монро.

— Тут не может быть и вопроса, — подтвердил я. — Вы сами знаете последствия. Вы схватите эндокардит, эмболию, тромбоз, метастатические абсцессы, — вы знаете опасность не хуже меня.

Он откинулся на кровать и захохотал.

— Я буду приобретать эти недуги поодиночке, — сказал он. Я не так жаден, чтобы забирать их себе все разом, — а, Монро, что? — когда у иных бедняг нет даже боли в пояснице. — Кровать заходила ходуном от его хохота. — Ну, ладно, будь по вашему, парень, — но вот что: ежели что-нибудь случится, никаких памятников на моей могиле. Если вы хоть простой камень положите, то, ей-богу, Монро, я явлюсь к вам в полночь и швырну его вам в брюхо!..

Почти три недели прошло, прежде чем он мог снова явиться на прием. Он был неплохой пациент, но осложнял мое лечение всевозможными микстурами и пилюлями и производил опыты над самим собой. Невозможно было уговорить его, и мы могли заставить его лежать в постели только разрешая ему делать все, что было в силах. Он много писал, разрабатывал модель новой брони для судов — и разряжал пистолеты в свой магнит, который велел принести и поставить на камин.

Тем временем миссис Колингворт и я принимали больных. В качестве его заместителя я потерпел жестокое поражение. Больные не верили мне ни на волос. Я чувствовал, что после него кажусь пресным, как вода после шампанского. Я не мог говорить им речи с лестницы, ни выталкивать их, ни пророчествовать анемичным женщинам. Я казался слишком важным и сдержанным после всего, к чему они привыкли. Как бы то ни было, я вел дело, как умел, и не думаю, чтобы практика его сильно пострадала от моего замещения. Я не считал возможным уклоняться от профессиональных правил, но прилагал все старания, чтоб вести дело как можно лучше.

В тот же вечер, когда был решен мой отъезд, я написал матушке, сообщая ей, что теперь между нами не должно оставаться и тени разлада, так как все улажено, и я решил немедленно уехать от Колингворта. Вслед за тем мне пришлось написать ей, что мой отъезд откладывается на неопределенное время и что я теперь принужден взять на себя всю практику. Милая старушка очень рассердилась. По-видимому, она совершенно не поняла, что дело идет о временной отсрочке и что я не мог бросить больного Колингворта. Она молчала три недели, а затем прислала очень ядовитое письмо (она-таки умеет подбирать эпитеты, когда захочет). Она дошла до того, что назвала Колингворта «обанкротившимся плутом» и объявила, что я мараю фамильную честь. На последний день перед его возвращением к практике, когда я вернулся с приема, он сидел в халате, внизу. Жена его, которая оставалась в этот день дома, сидела рядом с ним. К моему удивлению, когда я поздравил его с возвращением к деятельности, он отнесся ко мне так же угрюмо, как накануне нашего объяснения (хотя в течение всей болезни был очень весел). Жена его тоже избегала моего взгляда и говорила со мной почти отвернувшись.

— Да, завтра примусь за дело, — сказал он. — Ну, сколько же я вам должен за вашу работу?

— О, ведь это простая дружеская услуга, — сказал я.

— Благодарю вас, но я предпочел бы отнестись к ней с чисто деловой точки зрения. Это делает отношения более определенными. Во сколько же вы цените свои услуги?

— Я никогда не думал об этом.

— Хорошо, подумаем же об этом теперь. Заместителю я платил бы четыре гиней в неделю. Четырежды четыре шестнадцать. Положим двадцать. Я обещал выдавать вам по фунту в неделю с тем, что вы их мне вернете со временем. Теперь я положу двадцать фунтов на ваше имя как ваши собственные деньги, и вы будете получать их аккуратно по фунту в неделю.

— Благодарю вас, — сказал я. — Если уж вам так хочется сделать из этого деловой

вопрос, то устройте хоть так.

Я не мог понять, и до сих пор не могу понять, что вызвало эту внезапную холодность с их стороны; думаю, что они переговорили между собой и решили, что я держу себя слишком по-старому, и что надо напомнить мне о прекращении нашего товарищества. Конечно, они могли бы сделать это с большим тактом.

В тот самый день, когда Колингворт вернулся к больным, я отправился в Стонвель, захватив с собой только саквояж, так как это была лишь разведочная экспедиция, и я решил вернуться за багажом, если окажется хоть какая-нибудь надежда. Увы! Не оказалось и малейшей. Вид этого местечка повергнул бы в уныние самого сангвинического человека. Это один из тех живописных английских городков, у которых нет ничего, кроме исторических воспоминаний. Римский вал и Нормандский замок — его главные продукты. Но самая поразительная особенность его — туча докторов. Двойной ряд медных пластинок тянется вдоль всей главной улицы. Откуда они добывают пациентов, решительно не понимаю, разве что лечат друг друга. Хозяин «Быка», куда я зашел подкрепить свои силы скромным завтраком, до некоторой степени разъяснил мне эту тайну: кругом, на двенадцать миль по всем направлениям, нет ни одной сколько-нибудь крупной деревни, и обитатели разбросанных ферм обращаются за медицинской помощью в Стонвель. Пока я болтал с ним, по улице проплелся какой-то средних лет господин в пыльных сапогах.

— Это доктор Адам, — сказал хозяин. — Он еще новичок, но говорят, что со временем он добьется успеха.

— Что вы подразумеваете под новичком? — спросил я.

— О, он здесь всего десять лет, — сказал хозяин.

— Покорнейше благодарю, — ответил я. — Не можете ли вы сказать мне, когда отходит поезд в Бреджилд?

Так я вернулся назад, в довольно унылом настроении духа, истратив понапрасну десять или двенадцать шиллингов. Впрочем, моя бесплодная поездка кажется мне пустяком, когда я вспоминаю о начинающем стонвельце с его десятью годами и пыльными сапогами. Я готов на какой угодно иску, лишь бы он провел меня к цели; но да избавит меня судьба от тупиков!

Колингворты приняли меня не слишком ласково. Странное выражение их лиц показало мне, что им неприятно, что не удалось отделаться от меня. Когда я вспоминаю их абсолютно дружеское отношение ко мне несколько дней тому назад, и явно неприязненное теперь, то решительно не понимаю, в чем дело. Я прямо спросил Колингворта, что это значит, но он отвернулся с принужденным смехом и пробормотал какую-то глупость насчет моей щепетильности.

Я менее, чем кто-нибудь, способен видеть обиду там, где ее нет, но, как бы то ни было, решил уехать из Бреджилда немедленно. На обратном пути из Стонвеля мне пришло в голову, что Бирчеспуль будет подходящим местом. Итак, на следующий же день я забрал свой багаж и уехал, окончательно распростившись с Колингвортом и его женой.

— Положитесь на меня, дружище, — сказал Колингворт с выражением, напоминавшим о его прежнем дружелюбном отношении. — Наймите хороший дом в центре города, приколачивайте доску и действуйте. Я позабочусь, чтобы ваша машина не стала из-за недостатка угля.

С этим обнадеживающим напутствием он простился со мной на платформе Бреджилдской станции. Слова дружеские, правда? А между тем брать от него деньги для меня пуще ножа вострого. Как только буду зарабатывать столько, чтоб прожить на хлебе и воде, откажусь от них. Но начать дело без них, это все равно, что человеку, не умеющему плавать, выпустить спасательный круг.

Было около четырех, когда я приехал в Бирчеспуль, находящийся в пятидесяти трех милях от Бреджилда. Я оставил багаж на станции и сел в трамвай с намерением поискать комнату, так как думал, что она обойдется дешевле гостиницы. Мне удалось нанять комнатку за десять шиллингов шесть пенсов, и таким-то образом я водворился в Бирчеспуле,

обеспечив себе базу для операций. Я выглянул из маленького окна моей комнаты на дымящиеся трубы и серые крыши, украшенные кое-где шпицами, и погрозил им чайной ложкой. «Или вы меня одолеете, — сказал я, — или я окажусь достаточно мужчиной, чтобы одолеть вас».

Ну, всего хорошего вам, и всем вашим, и вашему городу, и вашему штату, и вашей великой стране.

неизменно ваш, *Дж. Старк Монро*.

Письмо десятое

Оклей-Вилла, I. Бирчестуль, 5 июня 1882 г.

В последний раз я писал вам, дорогой Берти, вечером в день моего приезда сюда. На следующее утро я принялся за дело. Вы будете удивлены (по крайней мере я был удивлен), узнав, как практически и методически я повел его. Прежде всего я отправился в почтовую контору и купил за шиллинг большой план города. Вернувшись домой, я приколот его к столу. Затем принялся изучать его и намечать ряд прогулок так, чтобы побывать на каждой улице. Вы не можете себе представить, что это значит, пока не попытаетесь сами проделать то же. Утром я завтракаю, выхожу в десять, брожу до часа, обедаю (на 3 пенса), продолжаю бродить до четырех, возвращаюсь домой и записываю результаты. Каждый незанятый дом я отмечаю на плане крестиком, а каждого доктора кружком. Так что теперь у меня полная картина местности, и я с первого взгляда вижу, где есть простор для практики, а где соперники на каждом шагу.

Тем временем у меня оказался совершенно неожиданный союзник. На второй вечер дочка хозяйки торжественно вручила мне карточку от жильца, занимавшего комнату внизу. На ней было напечатано «Капитан Уайттолл, Вооруженный Транспорт». На другой стороне карточки было написано: «Капитан Уайтголл (Вооруженный Транспорт) свидетельствует свое почтение доктору Монро и будет счастлив видеть его у себя за ужином в 8 ч. 30 м». На это я ответил: «Доктор Монро свидетельствует свое почтение капитану Уайтголлу (Вооруженный Транспорт) и с величайшим удовольствием принимает его любезное приглашение». Что значит «Вооруженный Транспорт», не имею понятия, но я счел нужным включить его в свой ответ, так как по-видимому сам капитан придает ему какое-то существенное значение.

Спустившись к нему, я увидел курьезную фигуру в сером халате, подпоясанном малиновым шнурком. Он пожилой человек, седеющие волосы еще не совсем белы, а мышинного цвета. Но усы и борода желтовато-каштановые, лицо усеяно морщинами, худое и в то же время одутловатое, мешки под удивительно светлыми голубыми глазами.

— Ей-богу, доктор Монро, сэр, — сказал он, пожав мне руку, — с вашей стороны очень любезно принять такое чуждое формальностей приглашение. Да, сэр, ей-богу!

Эта фраза типична для него, так как он почти всегда начинал и заканчивал божбой, — середина же обыкновенно заключала какую-нибудь любезность. Эта формула повторялась так регулярно, что я могу опустить ее, а вы имейте ее в виду всякий раз как он откроет рот. Местами тире будут вам напоминать о ней.

— В моем обычае, доктор Монро, сэр, было дружить с соседями всю мою жизнь; а соседи у меня бывали странные. Ей —, сэр, хоть я и маленький человек, а сидел между генералом справа, адмиралом слева и британским послом против меня. Это было, когда я командовал вооруженным транспортом «Геджина» в Черном море в 1855 году. Он погиб во время шторма в Балаклавской бухте, сэр, разбился в щепки.

В комнате стоял сильный запах виски, а на камине красовалась откупоренная бутылка. Сам капитан говорил с странной запинкой, которую я принял сначала за природный недостаток; но его походка, когда он направился к креслу, показала мне, что он уже

нагрузился до краев.

— Чем богат, тем и рад, доктор Монро, сэр. Скромный ужин и — привет моряка. Не Королевского Флота, сэр, хотя я видал манеры получше, чем многие из них. Нет, сэр, я не плаваю под чужим флагом, и не ставлю R. N. после моего имени, но я слуга королевы, — ! Не торгового мореплавания, сэр! Выпейте стаканчик. Это недурное снадобье, — я пил достаточно, чтобы понимать толк.

За ужином я оживился от еды и выпивки и рассказал моему новому знакомому все о моих планах и намерениях. Только теперь, дорвавшись до удовольствия говорить, я понял вполне, что такое одиночество. Он слушал меня сочувственно, и к моему ужасу налил себе и мне по полному стакану голого виски, выпить за мой успех. Его энтузиазм был так велик, что мне удалось отделаться только от второго стакана.

— Вы выйдете в люди, доктор Монро, сэр! — кричал он. — Я вижу человека с первого взгляда и говорю вам, — вы выйдете в люди. Вот моя рука, сэр! Я ваш! Вы не должны стыдиться пожать ее, так как, клянусь —, хоть я и сам это говорю, она всегда была открыта бедному и закрыта хвастуну, с тех пор как я вышел из пеленок. Да, сэр, из вас выйдет моряк хоть куда, и я рад, что вы служите на моем судне!

Все остальное время он был в твердой уверенности, что я поступил на службу под его начальство, и читал мне длинные сбивчивые речи о корабельной дисциплине, продолжая однако величать меня: «Доктор Монро, сэр». Наконец его разговор стал невыносимым: пьяный молодой человек противен, но пьяный старик, — конечно, самое жалкое зрелище на земле. Я встал и пожелал ему покойной ночи.

Я не ожидал еще раз увидеть моего соседа, но на следующее утро он явился, когда я сидел за завтраком. От него разило, как из винного погреба: пары виски, кажется, распространялись из всех его пор.

— Доброго утра, мистер Монро, сэр, — сказал он, протягивая мне трясущуюся руку. — Поздравляю вас, сэр! Вы выглядите свежим-свежим, а у меня в голове словно молотки стучат. Мы провели вечерок приятно, мирно, и я выпил немного, но — нездоровый воздух этого места расстраивает меня. Вы отправитесь на поиски дома, я полагаю?

— Я отправлюсь немедленно после завтрака.

— Я чертовски интересуюсь вашим предприятием. Вы, пожалуй, увидите в этом назойливость, но такой уж у меня характер. Пока я под парами, я бросаю канат всякому, кому нужен буксир. Я вам скажу, что я сделаю, доктор Монро, сэр. Я пойду в одну сторону, а вы идите в другую, а вернувшись, я вам сообщу, если подвернется что-нибудь настоящее.

По-видимому, мне оставалось только взять его с собой или предоставить ему идти одному; итак, я поблагодарил его и предоставил ему делать, как знает. Ежедневно вечером он возвращался, по обыкновению вполпьяна, но, как я думаю, добросовестно отмахав свои десять или пятнадцать миль. Он являлся с самыми курьезными предложениями. Однажды он не на шутку вступил в переговоры с владельцем огромного магазина сукон с прилавком в шестьдесят футов длиной. Мотив у него был тот, что один его знакомый содержатель гостиницы, устроившись неподалеку на противоположной стороне, повел дело с большим успехом. Бедный старый «вооруженный транспорт» работал так усердно, что я не мог не чувствовать признательности; тем не менее я от всего сердца желал, чтобы он прекратил свои хлопоты, так как он был в высшей степени нелепый агент, и я никогда не знал, какой экстраординарный шаг он предпримет от моего имени. Он познакомил меня с двумя другими господами. Один из них был странного вида субъект по имени Торни, живший на пенсию за раны; еще гардемарин он потерял глаз и лишился употребления руки из-за ран, полученных в схватке с маори. Другой был молодой человек, с поэтической наружностью и грустным выражением лица, хорошей фамилии, от которого семья отказалась из-за любовной истории с кухаркой. Имя его было Карр, а главная его особенность заключалась в том, что он был так регулярен в своем нерегулярном образе, что мог всегда определить время по степени своего опьянения. Он поднимал голову, принимал в расчет все симптомы и затем почти точно определял, который час. Несвоевременная выпивка однако сбивала его с

толку. Если бы вы заставили его выпить лишнее утром, он разделся бы и лег в постель после завтрака в полной уверенности, что день уже прошел Эти страшные забулдыги принадлежали к числу тех мелких суденышек, которым капитан Уайтголл, по его собственному выражению, «бросил канат»; и, улегшись в постель, я долго еще слышал звон стаканов и стук трубок, выколачиваемых о каминную решетку в комнате подо мной.

Закончив свое исследование по карте незанятых домов и докторов, я остановил свой выбор на одном домике, который без сомнения был самым подходящим для моих целей. Во-первых, он был довольно дешев — сорок фунтов, с налогами пятьдесят. Выглядел он недурно. При нем не было сада. Помещался он между богатым и бедным кварталами. Наконец, он стоял на пересечении четырех улиц, из которых одна была главной артерией города. Словом, я бы не мог найти лучшего дома для моих целей, и дрожал от страха, что кто-нибудь наймет его раньше меня. Я спешил со всех ног, и явился в контору с стремительностью, удивившей степенного клерка, который ею заведовал.

Ответы его, впрочем, были успокоительные. Дом еще не нанят. Хотя теперь еще не исполнилась четверть, но я могу занять его немедленно. Я должен подписать контракт на год и заплатить вперед.

Кажется, я слегка изменился в лице.

— Вперед! — сказал я, так беспечно, как только мог.

— Так принято.

— Или поручительство?

— Это зависит, конечно, от того, кто поручители.

— Не то, чтобы это имело большое значение для меня, — сказал я (да простит мне небо!), — но, если это безразлично для фирмы, для меня удобнее платить по окончании четверти.

— Назовите имена ваших поручителей.

Мое сердце запрыгало от радости, так как я знал, что дело уладится. Мой дядя, как вы знаете, приобрел дворянство в артиллерии, и хотя я никогда не видел его, но знал, что он выручит меня из тисков.

— Во-первых, мой дядя, сэр Александр Монро, Лизмор Гауз, Дублин, — сказал я. — Он охотно ответит на ваш запрос, также как мой друг доктор Колингворт в Бреджилде.

Я сразил его этими именами. Я видел это по его глазам и фигуре.

— Не сомневаюсь, что такое поручительство окажется вполне удовлетворительным, — сказал он. — Не будете ли вы любезны подписать контракт?

Я сделал это, и перешагнул через Рубикон. Жребий был брошен. Будь что будет, вилла Оклей нанята мною на двенадцать месяцев.

— Угодно вам получить ключ немедленно?

Я почти вырвал ключ из его рук. Затем я устремился вступить во владение своей собственностью. В первый раз в жизни я стоял в помещении, за которое не было заплачено кем-нибудь другим.

Ближайшей моей заботой было запастись лекарствами и мебелью. Первые я мог приобрести в кредит; но ради второй решил ни в каком случае не входить в долги. Я написал в Аптекарское Общество, сообщив имена Колингворта и моего отца в качестве поручителей, запас на десять фунтов тинктур, отваров, пилюль, порошков, мазей и склянок. Колингворт, вероятно, был один из их главных заказчиков, так что я знал, что мой заказ будет быстро исполнен.

Оставался более серьезный вопрос о мебели. Ее мне удалось приобрести при бестолковом, но усердном содействии капитана Уайтголла на аукционе, за три фунта с небольшим.

И вот я переселился в свой дом — мой дом, дружище! — расплатившись с хозяйкой. Ее счет оказался больше, чем я ожидал, хотя я брал у нее только чай и завтрак, или «обед», как она величественно выражалась. Как бы то ни было, для меня было большим утешением рассчитаться с ней и перебраться на Оклей-Виллу.

Водворившись наконец в собственном доме, я уселся в своем кабинете и выложил на стол всю свободную наличность. Я испугался, когда взглянул на нее: три полкроны, долорин и шесть пенсов, то есть, всего одиннадцать шиллингов и шесть пенсов. Я ожидал весточки от Колингворта раньше, чем дойду до этого; но во всяком случае он там, за моей спиной, — верный друг. Тотчас после найма дома я написал ему подробное письмо, сообщая, что я взял на себя обязательство, подписав контракт на год, но совершенно уверен, что с поддержкой, которую он мне обещал, легко преодолению все затруднения. Я описал благоприятное положение и сообщил все подробности о ренте и соседстве. Я был уверен, что в ответ на письмо получу от него мой недельный перевод.

Я просидел целый день дома с тем же чувством уюта и новизны, которое испытал, когда входная дверь впервые захлопнулась за мной. Вечером я вышел со двора, купил краюху хлеба, полфунта чаю («чайные крошки», как его называют, — он стоит восемь пенсов), оловянный чайник (пять пенсов), жестянку швейцарского молока и жестянку американского консервированного мяса. Два шиллинга девять пенсов исчезли, как не бывали, но по крайней мере я запасся провиантом на несколько дней.

В задней комнате была очень удобная газовая горелка. Я вколотил над ней в стену деревянный шпенок, на который мог подвешивать чайник и кипятить его. Выгода этого приспособления заключалась в том, что оно не требовало немедленных издержек, а платить за газ предстояло еще бог весть когда; до тех пор могло произойти многое. Таким образом задняя комната превратилась в кухню и столовую вместе. Единственная мебель — ящик, который служил и буфетом, и столом, и сиденьем. В нем помещались все мои съестные припасы, и когда мне хотелось есть, то оставалось только достать их и положить на ящик, оставив местечко для себя самого.

Только в спальне, собираясь лечь в постель, я заметил пробелы в моей обстановке. Не было ни матраца, ни подушки, ни постельного белья. Мои мысли до того сосредоточились на предметах, необходимых для моей профессии, что я забыл и думать о своих личных нуждах. Эту ночь я провел прямо на железной кровати, и встал с нее, как святой Лаврентий с решетки. Моя вторая пара и «Основы Медицины» Бристоу составляли отличную подушку, а одеялом в теплую июньскую ночь может служить пальто. Я не хотел покупать постельного белья, а в ожидании, пока у меня окажутся деньги для покупки нового, решил устроить подушку из соломы и прикрываться обеими парами платья в холодные ночи. Но спустя два часа проблема разрешилась для меня в гораздо более комфортабельном смысле прибытием большого сундука, посланного матушкой, который был так же кстати для меня и явился так же неожиданно, как обломки испанского корабля для Робинзона Крузо. В нем оказались две пары толстых шерстяных одеял, пара простынь, стеганое одеяло, подушка, складной походный стул, две набитые медвежьими лапы (чего ожидал меньше всего на свете!), две терракотовые вазы, чайный прибор, две картины в рамках, несколько книг, орнаментальная чернильница и несколько скатертей и цветных покрывал для стола. Только имея в своем распоряжении стол с еловой доской и ножками черного дерева, вы поймете истинное значение покрывала для стола. Тотчас за этим сокровищем прибыл большой тюк от Аптекарского Общества с лекарствами. Когда я выстроил их в ряд, они заняли всю стену и еще полстены в столовой. Обойдя после этого свой дом и обзрев свое разнообразное имущество, я почувствовал, что мои политические воззрения стали менее радикальными, и начал думать, что в конце концов в праве собственности может быть и есть что-нибудь путное.

О прислуге, конечно, нечего было и думать. Я не мог прокормить ее, ни, тем более, платить ей, да и кухонных принадлежностей у меня не было. Я должен был отворять дверь пациентам, что бы они ни подумали об этом. Должен сам мыть посуду и подметать комнаты, и эти обязанности должны быть исполнены, так как посетители должны находить мое помещение в приличном виде. Ну, все это не представляло особых затруднений, так как я мог исполнять все эти обязанности под покровом ночи. Но матушка предложила мне комбинацию, которая чрезвычайно упрощала дело. Она написала, что если я хочу, то она

может прислать мне моего братишку Поля в качестве помощника. Он был бойкий веселый мальчуган девяти лет, который, я знал, с радостью разделит со мной невзгоды; если же эти невзгоды станут чересчур тяжелыми, то я всегда могу отослать его обратно. Он мог приехать только через несколько недель, но меня радовала мысль о нем. Помимо его общества, он мог быть полезным в самых разнообразных отношениях.

Кто мог явиться ко мне на второй день, кроме капитана Уайтголла? Я сидел в задней комнате, соображая, много ли ломтей выйдет из фунта консервированной говядины, когда он позвонил. Как зазвенел колокольчик в пустом доме! Я, впрочем, увидел, кто это такой, как только вышел в переднюю, так как входная дверь была наполовину стеклянная, и я мог видеть моих посетителей, не подходя близко.

Я все еще не был уверен, люблю я этого человека или питаю к нему отвращение. Он представлял самую необычайную смесь милосердия и пьянства, беспутства и самоотвержения, какую я когда-либо встречал. Но он приносил с собой в мой дом струю оживления и надежды, за которые я мог быть только благодарен. Он держал под мышкой какой-то сверток, который оказался, когда он снял бумагу, большой темной вазой. Он водворил ее на камин.

— Вы позволите мне, доктор Монро, сэр, поместить эту безделку в вашей комнате. Это лава, сэр, лава из Везувия; сделано в Неаполе. Ей, — , вы думаете, что она пуста, доктор Монро, сэр, но она наполнена моими лучшими пожеланиями; и когда вы приобретете лучшую практику в городе, то можете указывать на эту вазу и говорить, как она попала к вам — от шкипера вооруженного транспорта, который сочувствовал вам с самого начала.

Признаюсь, Бerti, слезы навернулись на мои глаза, и я едва мог пробормотать несколько слов благодарности. Какая странная смесь противоположных качеств человеческая душа! Не поступок или слова его меня тронули; а почти женственное выражение в глазах этого разбитого, отупевшего от пьянства, старого цыгана — сочувствие и жажда сочувствия, которые я в нем прочел. Впрочем, только на мгновение, так как он тотчас вернулся к своей беспечной, полувызывающей манере.

— Есть и другое, сэр. Я решил некоторое время тому назад посоветоваться с доктором. Я буду рад, если вы возьметесь освидетельствовать меня.

— Что же у вас такое? — спросил я.

— Доктор Монро, сэр, — ответил он, — ходячий музей. Вы бы затруднились сказать, чего у меня нет. Если вы желаете произвести какое-нибудь специальное исследование, пожалуйста ко мне, и посмотрите, что я могу сделать для вас. Не всякий может сказать о себе, что он трижды выдержал холеру и всякий раз вылечивал себя сам перцовкой. Ежели вы заставите этих маленьких зародышей чихать, они живо уберутся из вас. Это моя теория холеры, и вы заметьте ее, доктор Монро, сэр, так как у меня умерло пятьдесят человек, когда я командовал вооруженным транспортом «Геджира» на Черном море, и я знаю, — о чем говорю.

Я заменяю клятвы и божбу Уайтголла чертами, так как чувствую, что бесполезно было бы пытаться передать их энергию и разнообразие. Я был изумлен его видом, когда он разделся, так как все его тело оказалось сплошь покрытым татуировкой, с толстой синей Венерой против сердца.

— Можете стучать, — сказал он, когда я принялся выслушивать грудь, — но я уверен, что там никого не окажется дома. Они все отправились друг к другу в гости. Сэр Джон Гетток пробовал выслушивать меня три года тому назад. «Слушайте, вы, — сказал он, — куда же, черт возьми, девалась ваша печень? Что у вас там за мешанина? Ничего не на своем месте». — «Кроме моего сердца, сэр Джон, — ответил я. — Да, оно-то не сорвется с якоря, пока у него цел хоть один клапан».

Я исследовал его и убедился, что он недалеко от истины. Я освидетельствовал его с головы до ног, — действительно, в нем мало что оставалось в том виде, как было создано природой. Я нашел у него расширение сердечной сумки, цирроз печени, Брайтонову болезнь, расширение селезенки и начало водяной. Я прочел ему лекцию о необходимости

умеренности, если не полного воздержания; но боюсь, что мои слова не произвели на него никакого впечатления. Он ухмылялся, издавал какой-то кудахтающий горловой звук все время, пока я говорил, но означало ли это согласие или несогласие, я не мог понять.

Когда я кончил, он достал кошелек, но я просил его считать эту маленькую услугу с моей стороны актом простой дружбы. Это не помогло, и он так настаивал, что я принужден был уступить.

— В таком случае, мой гонорар пять шиллингов, если уж вы непременно хотите отнестись к этому с деловой точки зрения.

— Доктор Монро, сэр, — перебил он, — меня свидетельствовали люди, которым я не подал бы стакана воды, если б они умирали от жажды, и я никогда не платил им меньше гинеи. Теперь, когда я имею дело с джентльменом и другом, черт меня побери, если я заплачу хоть сторингом меньше!

Таким образом, после долгих споров, кончилось тем, что он ушел, оставив соверен и шиллинг на моем столе. Деньги эти жгли мне пальцы, так как я знал, что пенсия его невелика; но раз уж нельзя было отказаться от них, я не мог отрицать, что они оказывались весьма кстати.

Теперь перехожу к великому событию сегодняшнего утра, о котором я сейчас не могу говорить хладнокровно. Подлец Колингворт перерезал канат и разом посалил меня на мель.

Письма приносят в восемь часов утра, и я читаю их в постели. Сегодня пришло только одно, по странному почерку на адресе нельзя было ошибиться, от кого. Я не сомневался, что это обещанная сумма, и открыл его с приятным чувством ожидания. Вот что я прочел:

«Когда горничная убирала вашу комнату после вашего отъезда, она вымела из нее клочья порванного письма. Увидав на них мое имя, она, исполняя свою обязанность, отнесла их своей госпоже, которая сложила клочки и убедилась, что они составляют письмо от вашей матери, поносящей меня в самых низких выражениях вроде „обанкротившийся плут“ и „бессовестный Колингворт“. Я могу только сказать, что мы были крайне изумлены тем, что вы могли принимать участие в такой переписке, оставаясь гостем под нашей кровлей, и что мы отказываемся от каких бы то ни было дальнейших сношений с вами».

Приятно было получить такой утренний сюрприз, не правда ли, после того, как, полагаясь на его обещание, я начал дело и нанял дом на год с несколькими шиллингами в кармане. Я не раз перечитывал письмо и несмотря на свое отчаянное положение не мог не посмеяться мелочности и глупости Колингворта. Картина хозяина и хозяйки, подбирающих и склеивающих обрывки письма их уехавшего гостя, показалась мне крайне забавной. И глупо оно было, так как ребенок мог бы сообразить, что нападки матушки были ответом на мою защиту. Зачем бы мы стали писать, высказывая оба одно и то же. Как бы то ни было, я крайне смущен и не знаю, что буду делать. Обдумаю свое положение и сообщу вам о результатах. Что бы ни случилось, одно несомненно, — в удаче и в беде остаюсь вашим неизменным и болтливым другом — Старком.

Письмо одиннадцатое

Оклей-Вилла I. Бирчестуль, 12 июня 1882 г.

Когда я писал мое последнее письмо, дорогой Берти, я чувствовал себя, как треска, выброшенная на мель, после моего окончательного разрыва с Колингвортом.

Только теперь я понял, что это за человек. Я попытался вспомнить, когда это я разрывал письма матушки, так как вообще это не в моем обычае. Напротив, я часто недоумевал, что мне делать с письмами, когда их накоплялось столько, что карман готов был лопнуть. Чем больше я думал об этом, тем больше убеждался, что я не мог сделать ничего подобного, так что в конце концов я отыскал старый пиджак, который носил в Бреджилде и освидетельствовал его карманы. Первое же письмо, которое я вытащил из них, оказалось то

самое, о котором говорил Колингворт.

Теперь я мог объяснить себе многое, что поражало меня в Бреджилде. Эти внезапные припадки дурного настроения и плохо скрываемой вражды со стороны Колингворта, — не совпадали ли они с получением писем от матушки? Да, я был уверен, что он читал их с самого начала.

Но тут скрывался еще более черный умысел. Если он читал их и был настолько нелеп, что считал мое отношение к нему нечестным, то почему не сказал мне об этом тогда же? Причина могла быть одна: ему пришлось бы объяснить, как он получил свои сведения. Но я достаточно знал ресурсы Колингворта, чтобы понимать, что он сумел бы вывернуться из этого затруднения. Придумал же он историю с горничной относительно последнего письма. Его могли удержать только какие-нибудь более сильные резоны. Припомнив всю историю наших отношений, я пришел к убеждению, что его план был поддерживать меня обещаниями, пока я не возьму на себя каких-либо обязательств, а затем бросить меня, — так что в конце концов я окажусь несостоятельным перед моими кредиторами, то есть окажусь именно тем, чем называла его моя мать.

Раскусив во всех подробностях его адский план, я написал ему письмо, — коротенькое, но не без перцу. Я писал, что письмо его доставило мне большое удовольствие, так как устранило единственную причину недоразумений между мной и моей матушкой. Она всегда считала его негодяем, я же всегда защищал его; но теперь вижу, что она была права. Я сказал достаточно, чтобы показать, что понимаю весь его план, и прибавил, что если он воображает, будто повредил мне, то ошибается: я имею основание думать, что ему неумышленно удалось помочь мне устроиться именно так, как я желал.

После этой маленькой бравады я почувствовал себя легче, и обдумал свое положение. Я был один в чужом городе, без связей, без рекомендаций, с суммой меньше фунта в кармане и без малейшей возможности отделаться от своих обязательств. Мне не к кому было обратиться за помощью, так как последние письма из дома говорили об ухудшении дел. Здоровье моего бедного отца таяло, а вместе с ним и его доходы. С другой стороны были кое-какие данные в мою пользу. Я был молод. Я был энергичен. Я привык к лишениям и готов был выносить их. Я хорошо знал свое дело и надеялся успешно справляться с пациентами. Дом мой как нельзя более подходил для моей цели, и я завел уже необходимую обстановку. Игра еще не кончена. Я вскочил, простер руки и поклялся перед подсвечником, что буду бороться до конца.

В течение следующих трех дней колокольчик не прозвонил ни разу. Потом заглянул ко мне какой-то босьяк, а затем и настоящий пациент, хотя очень скромный. Это была анемическая старая дева, страдавшая ипохондрией, насколько я мог заметить; вероятно, побывавшая уже у всех докторов в городе и желавшая посмотреть на нового. Не знаю, удовлетворил ли я ее. Она обещала зайти в среду, но при этом скосила глаза вбок. Она могла дать только шиллинг и шесть пенсов, но и то было кстати. Я мог прожить три дня на шиллинг и шесть пенсов.

Я думаю, что довел экономию до крайнего предела. Без сомнения, я мог бы прожить несколько времени на два пенса в день; но мне нужно было не упражняться в спорте, а выработать режим на много месяцев. Чай, сахар и молоко (консервированное) стоили мне пенни в день. Хлеба я съедал на два пенса три форсинга. Обед мой состоял из трети фунта ветчины, сваренной на газовой горелке (два с половиной пенса), или пары сосисок (два пенса), или двух кусков жареной рыбы (два пенса), или четверти восьмипенсовой коробки Чикагской говядины (два пенса). Таким образом пропитание стоило мне менее шести пенсов в день, но я тратил полпенни в день на поощрение литературы, покупая вечернюю газету, так как решительно не мог обходиться без новостей. Полпенни кажется пустяком, но подумайте о шиллинге в месяц!

Вы может быть думаете, что я извелся на таком режиме. Конечно, я худощав, но никогда в жизни не чувствовал себя таким здоровым. Таким энергичным, что иногда я выхожу в десять часов вечера и гуляю до двух-трех утра. Днем я не решаюсь выходить,

чтобы не прозевать ни цента. Я написал матушке, чтобы она не посылала Поля, пока мое положение не станет более определенным.

До следующего письма, дорогой Берти. Покойной ночи.

Письмо двенадцатое

Оклей-Вилла I. Бирчеспуль, 15 января 1883 г.

Вы видите по адресу этого письма, что я все еще сохраняю за собой свой дом, но это стоило мне жестокой борьбы. Приходилось жить на гроши, приходилось сидеть вовсе без денег. Все лучшие времена я терпел лишения, в худшие голодал. Случалось питаться сухим хлебом, когда в ящике стола лежало десять фунтов. Но эти десять фунтов были собраны с величайшими усилиями для уплаты за четверть, и я бы скорее дал спустить с себя шкуру, чем истратить из них хоть пенни. Я улыбался, когда читал в вечерней газете о лишениях наших солдат в Египте. Их несвежие припасы были бы пиршеством для меня. В конце концов не все ли равно, откуда вы извлекаете углерод, кислород и азот, — было бы только из чего извлекать. Гарнизон Оклей-Виллы терпел лишения и все-таки не сдался.

Не то чтобы у меня не было пациентов. Они явились, как и следовало ожидать. Иные, подобно той старой деве, которая была первой моей пациенткой, не возвращались. Вероятно, доктор, отворяющий дверь посетителям, убивал их доверие. Другие сделались моими яркими сторонниками. Но почти все они были бедные люди, и если вы примете в расчет, сколько шиллингов нужно, чтобы составить пятнадцать фунтов, которые мне необходимо было иметь каждые три месяца для уплаты налогов, аренды, за чай и за воду, то поймете, что даже при некотором успехе трудновато мне было пополнять ящик, заменявший мне кладовую. Как бы то ни было, дружище, за две четверти заплачено и я вступаю в третью с неослабевшей энергией. Я потерял около шестнадцати фунтов веса, но ни грана мужества.

Мое письмо, очевидно, уязвило Колингворта, ибо я неожиданно получил от него послание, в котором он говорил, что если я желаю, чтобы он поверил в мою bonafides (что он под этим подразумевал, не знаю), то должен вернуть ему деньги, которые получил за время моего пребывания в Бреджилде. Я со своей стороны ответил, что получил всего около двенадцати фунтов, что у меня до сих пор хранится письмо, в котором он гарантирует мне триста фунтов, если я приеду в Бреджилд, что разница в мою пользу составляет двести восемьдесят восемь фунтов; и если я не получу их от него немедленно, то передам дело моему адвокату. Это положило конец нашей переписке.

Был, однако, и другой инцидент. Однажды, после уже двухмесячной практики, я заметил на противоположной стороне улицы какого-то вульгарного бородатого субъекта. Под вечер я снова увидел его на том же месте, из окна моего кабинета. Когда и на следующее утро он оказался там же, у меня возникло подозрение, которое превратилось скоро в уверенность; день или два спустя, выходя от бедного пациента, я заметил того же субъекта на противоположной стороне улицы перед лавкой зеленщика. Я дошел до конца улицы, подождал за углом и встретил его, торопившегося за мной.

— Вы можете вернуться к доктору Колингворту и сообщить ему, что у меня столько практики, сколько мне требуется, — сказал я. — Если вы будете продолжать шпионить за мной, то уже на свой риск.

Он смутился и побагровел, но я ушел и больше не видел его. С тех пор я не слыхал о Колингворте.

Было и два-три удачных для меня случая. Один (имевший для меня огромное значение) заключался в том, что молочный торговец, по имени Гейвуд, упал в припадок у дверей своей лавки. Я шел в это время к одному из моих пациентов — бедному рабочему, лежащему в тифе. Как вы можете себе представить, я не упустил случая, вошел в лавку, помог больному, успокоил жену, приласкал ребенка и приобрел расположение всей семьи. Припадки эти

случались с ним периодически, и мы условились, что я буду лечить его, а он уплачивать мне продуктами. В результате этого договора, когда у него случался припадок, у меня появлялись масло и ветчина, когда же здоровье его было в исправности, я возвращался к сухому хлебу и сосискам. Как бы то ни было, благодаря этому пациенту мне удалось отложить не один шиллинг на уплату за дом. В конце концов, однако, бедняга умер.

В течение шести месяцев моя практика настолько возросла, и положение стало надежнее, так что я решился вызвать к себе моего братишку Поля. И какой же он чудесный товарищ! Он выносит все невзгоды нашего маленького хозяйства, оставаясь в самом веселом настроении духа, разгоняет мою хандру, сопровождает меня на прогулках, входит во все мои интересы (я всегда говорю с ним, как со взрослым) и всегда готов взяться за любую работу, от чистки сапог до разноски лекарств. Единственное его развлечение — вырезать из бумаги солдатиков или покупать оловянных (в тех редких случаях, когда у нас оказывается лишняя копейка). Я привел как-то пациента в свой кабинет и нашел на столе целую армию пехоты, кавалерии и артиллерии. Я сам был атакован, когда сидел за письмом, и подняв голову, увидел цепь стрелков, подбирающихся ко мне, колонны пехоты в резерве, отряд кавалерии на моем фланге, меж тем как батарея, заряженная горохом, обстреливала мою позицию с медицинского словаря, за которым виднелась круглая, улыбающаяся рожица генерала.

Однажды утром мне пришла в голову великая идея, произведшая революцию во всем нашем хозяйстве. Это случилось уже в то время, когда мы ежедневно имели масло, а при случае и табак; и молочник заходил к нам ежедневно.

— Поль, дружище, — сказал я, — я нашел способ завести прислугу, не платя ничего.

Он был доволен, но ничуть не удивлен. Он питал безграничное доверие к моим силам, так что если бы я сказал ему, что нашел способ свергнуть королеву Викторию с престола и самому сесть на ее место, он без малейшего колебания принялся бы помогать мне.

Я взял листок бумаги и написал: «Сдается нижний этаж в обмен за домашние услуги. Справиться I Оклея Вилла».

— Вот, Поль, — сказал я, — снеси это в «Вечерние Новости» и заплати шиллинг: пусть напечатают три раза.

Трех раз не потребовалось. Одного оказалось слишком достаточно. Через полчаса после выхода номера раздался звонок, и затем весь вечер мне пришлось принимать желающих. Наши требования росли по мере того, как мы убеждались в громадности спроса: белый передник, опрятная одежда при приеме пациентов, уборка постелей, чистка сапог, стряпня. Наконец мы остановили наш выбор на некоей мисс Коттон, желавшей поселиться у меня вместе со своей сестрой. Это была особа с резкими чертами лица и грубыми манерами, присутствие которой в доме холостяка не грозило скандалом. Один ее нос был уже ручательством за добродетель. Она должна была поместиться в нижнем этаже со своей мебелью, сверх того я уступал ей и ее сестре одну из верхних комнат под спальню.

Спустя несколько дней она переселилась ко мне. Меня не было дома в это время, и первое, что я встретил по возвращении, были три собачонки в передней. Я позвал мисс Коттон и объявил ей, что это нарушение контракта, и что я вовсе не намерен заводить у себя псарню. Она очень горячо вступилась за собачонок — мать с двумя дочерьми какой-то редкой породы — так что в конце концов я сдался.

Некоторое время все шло гладко, но затем начались осложнения. Однажды утром, сойдя вниз раньше, чем обыкновенно, я увидел в передней какого-то маленького бородатого человечка, собиравшегося отворить входную дверь. Я захватил его раньше, чем он успел сделать это.

— Эге, — сказал я, — что это значит?

— С вашего позволения, сэр, — заметил он, — я муж мисс Коттон.

Ужасные подозрения насчет моей экономки мелькнули у меня в голове, но я вспомнил об ее носе и успокоился. Расследование выяснило все. Она была замужняя женщина. Муж ее был моряк. Она выдала себя за девицу, думая, что я охотнее приму в экономки незамужнюю. Муж ее неожиданно вернулся домой из дальнего плавания. Тут же выяснилось, что и другая

женщина ей вовсе не сестра, и зовут ее мисс Вильямс. Она думала, что я охотнее приму двух сестер, чем двух подруг. Таким образом, мы наконец узнали, кто был каждый из нас, и я позволил Джеку остаться, а мисс Вильямс уступил другую комнату наверху.

Около этого времени у меня случилось несколько сверхсметных шиллингов, на которые я приобрел для своего погреба бочонок пива в четыре с половиной галлона, с твердым решением угощаться им только по праздникам и воскресеньям или когда будут гости. Вскоре затем Джек снова отправился в плавание; а после его отъезда начались страшные ссоры между двумя женщинами, наполнявшие дом звуками перебранки. Наконец, однажды вечером мисс Вильямс — более тихая — явилась ко мне и сообщила, всхлипывая, что она должна уйти. Миссис Коттон не дает ей жить. Она решила устроиться самостоятельно и наняла маленькую лавочку в бедном квартале.

Мне было жаль мисс Вильямс, к которой я чувствовал симпатию, и я сказал несколько слов в этом смысле. Она дошла до передней, а затем ринулась обратно ко мне в кабинет, крикнула: «Попробуйте ваше пиво!» — и исчезла.

Слова ее звучали точно какое-то заклинание. Если бы она сказала: «О, снимите ваши носки!» — я бы не более удивился. Но вдруг грозное значение ее слов предстало моему уму и я бросился в погреб. Постучал по бочонку, он звучал, как барабан. Откупорил — ни капли! Набросим покрывало на последовавшую прискорбную сцену. Довольно сказать, что миссис Коттон отправилась восвояси — и на другой день мы с Полем снова оказались одни в пустом доме.

Но мы были уже деморализованы роскошью. Мы не могли больше вести хозяйство без помощника, особенно в зимнее время, когда приходилось топить печи — несноснейшее занятие для мужчины. Я вспомнил о спокойной мисс Вильямс и разыскал ее лавку. Она была рада вернуться и могла расплатиться за наем лавки, но не знала, как ей быть со своими товарами. Это звучало внушительно, но когда я узнал, что стоимость всего ее склада составляла одиннадцать шиллингов, то решил, что это препятствие не неустранимое. Часы мои отправились в ломбард, и дело было улажено. Я вернулся домой с отличной экономкой и с корзиной шведских спичек, шнурков для штиблет, карандашей и сахарных фигурок. Так мы устроились, наконец, и я надеюсь, что теперь наступит период относительного мира.

Всего хорошего, дружище, и не думайте, что я забываю о вас. Ваши письма читаются и перечитываются, и я думаю, что помню каждую строчку.

Письмо тринадцатое

Оклей-Вилла I. Бирчестуль, 3 августа 1883 г.

Вы помните, дорогой Берти, что мы (Поль и я) пригласили некую мисс Вильямс поселиться с нами в качестве домоправительницы. Я чувствовал, что принцип сдачи нижнего этажа в обмен за услуги ненадежен; и потому мы вступили в более деловое соглашение, в силу которого она получала известную сумму (хотя, увы, смехотворно малую) за свои услуги. Я бы охотно платил вдесятеро больше, потому что лучшей и более добросовестной служащей еще не бывало.

Медленно, неделя за неделей, месяц за месяцем, практика расширялась и росла. Случалось, что по несколько дней звонок безмолвствовал, как будто бы все наши труды пошли прахом, но выпадали и такие периоды, когда ежедневно являлось по восьми-десяти пациентов.

Мисс Вильямс всячески радеет о моих интересах. Ложные утверждения, которыми она обременяет свою душу в интересах практики, вечный укор моей совести. Она высокая, худая женщина с важным лицом и внушительными манерами. Ее главная фикция, скорее подразумеваемая, чем высказываемая (с таким видом, словно дело идет о таком общеизвестном факте, что и говорить о нем незачем) заключается в том, что я завален

практикой, так что всякий желающий пользоваться моими услугами, должен записаться заранее.

— Бог мой, сейчас? — говорит она какому-нибудь посетителю. — Да он уже опять вызван к больному. Если б вы зашли получасом раньше, он, может быть, уделил бы вам минутку. Никогда не видала ничего подобного — (конфиденциально) — между нами, не думаю, чтобы он долго выдержал. Надорвется! Но войдите, я посмотрю, нельзя ли что-нибудь для вас сделать.

Затем, усадив пациента в кабинете, она отправляется к Полю. — Сбегайте на площадку, где играют в шары, мистер Поль, — говорит она. — Вы, вероятно, найдете там доктора. Скажите ему, что его дожидается пациент.

По-видимому, она внушает им этими объяснениями род смутного благоговения, точно они вступили в какое-то святое святых. Мое появление производит почти обратное действие.

Теперь я дошел до такого пункта, который почти заставляет меня верить в судьбу. По соседству со мной живет один врач, — его имя Портер — очень милый человек, который, зная, с каким трудом я пробиваю дорогу, не раз оказывал мне содействие. Однажды, недели три тому назад, он вошел ко мне в кабинет после завтрака.

— Можете вы отправиться со мной на консультацию? — спросил он.

— С удовольствием.

— Моя карета ждет на улице.

По дороге он рассказал мне о пациенте. Это был молодой человек, единственный сын в семье, страдавший нервными припадками, а в последнее время сильными головными болями. «Его семья живет у одного из моих пациентов, генерала Уэнкрайта, — прибавил Портер. — Ему не нравятся симптомы, и он решил пригласить еще врача для совещания».

Мы подъехали к огромному дому, и были приняты его владельцем — загорелым, седовласым служакой. Он объяснил, что чувствует на себе большую ответственность, так как пациент — его племянник. Когда в комнату вошла дама, — «Это моя сестра, миссис Лафорс, — сказал он, — мать того джентльмена, которого вам предстоит освидетельствовать».

Я тотчас узнал ее. Я уже встречался с ней раньше, и при курьезных обстоятельствах. (Здесь доктор Монро рассказывает о своей встрече с миссис Лафорс, очевидно забыв, что он уже рассказывал о ней в пятом письме). Я убедился, что она не узнает во мне молодого доктора в вагоне железной дороги. Не удивительно, так как я отпустил бороду, чтобы казаться старше. Она, естественно, была в тревоге за сына, и мы (Портер и я) пошли вместе с ней взглянуть на него. Бедняга! Он имел еще более изнуренный и болезненный вид, чем при первой нашей встрече. Мы занялись больным, пришли к соглашению насчет хронического характера его недуга, и в заключение удалились, причем я не напомнил миссис Лафорс о нашей первой встрече.

Казалось бы, тут и конец всей истории, но спустя три дня я принимал в своем кабинете миссис Лафорс и ее дочь. Последняя дважды взглянула на меня, когда мать знакомила нас, как будто мое лицо казалось ей знакомым; но очевидно не могла припомнить, где она меня видела, а я ничего не сказал. По-видимому, обе они были очень огорчены — в самом деле, слезы навертывались на глаза девушки и губы ее дрожали.

— Мы являемся к вам, доктор Монро, в величайшем огорчении, — сказала миссис Лафорс, — мы были бы очень рады воспользоваться вашим советом.

— Вы ставите меня в довольно затруднительное положение миссис Лафорс, — отвечал я. — Дело в том, что я считаю вас пациентками доктора Портера, и с моей стороны было бы нарушением профессиональных правил вступать с вами в сношения иначе, как через него.

— Он-то и послал нас сюда, — сказала она.

— О, это совершенно меняет дело. Пожалуйста, сообщите ваше желание.

Она была так расстроена, что не могла продолжать, и дочь пришла к ней на помощь.

— Я расскажу вам, доктор, — сказала она. — Бедная мама совсем выбилась из сил. Фрэду, то есть, моему брату — хуже. Он начал шуметь и не хочет успокоиться.

— А мой брат, генерал, — продолжала миссис Лафорс, — естественно не ожидал этого, когда любезно предложил нам поселиться у него, и так как он нервный человек, то ему это тяжело. Он просто не в силах выносить этого, он сам говорит. Я хотела спросить вас, не знаете ли вы какого-нибудь доктора или какое-нибудь частное учреждение, где бы можно было поместить Фрэда, — так, чтобы мы могли видеть его каждый день? Необходимо только взять его немедленно, потому что терпение моего брата истощилось.

Я позвонил, вошла мисс Вильямс.

— Мисс Вильямс, — сказал я, — можете вы приготовить сегодня же спальню для больного джентльмена, который будет жить здесь?

Никогда еще я не дивился так самообладанию этой удивительной женщины.

— Отчего же нет, сэр, если только пациенты дадут мне время. Но если они будут звонить каждые четверть часа, то трудно сказать, управлюсь ли я с делом.

Эти слова, в связи с ее забавными манерами, вызвали улыбку на лицах дам, и все дело показалось проще и легче. Я обещал приготовить комнату к восьми часам. Миссис Лафорс обещала привезти сына к этому времени, и обе дамы благодарили меня гораздо больше, чем я заслуживал, так как в сущности это был деловой вопрос.

В свое время все было готово, и в восемь часов Фрэд водворился в моей спальне. С первого же взгляда я убедился, что состояние его сильно ухудшилось. Хроническое расстройство нервов приняло внезапно острую форму. Глаза его были дикие, щеки пылали, губы слегка отвисали. Температура была 102°, он все время что-то бормотал и не обращал внимания на мои вопросы. Было очевидно, что я взял на себя нелегкую ответственность.

Как бы то ни было, ночь прошла благополучно, а утром я отправился к миссис Лафорс сообщить о состоянии ее сына. Ее брат успокоился после того, как больной поселился у меня. У него — орден Виктории, и он был в составе отчаянного маленького гарнизона, занимавшего Лукнов в самом центре восстания сипаев. А теперь внезапное хлопанье дверей вызывает у него сердцебиение. Не странные ли мы существа?

В течение дня Фрэду стало несколько лучше; по-видимому, он даже смутно узнал сестру, когда она зашла его проведать и принесла цветы. К вечеру температура понизилась до 101°, и он впал в оцепенение. Случайно заглянул ко мне доктор Портер, и я попросил его взглянуть на больного. Он сделал это, и нашел его спокойно спящим. Вы вряд ли можете себе представить, что этот маленький инцидент оказался одним из самых достопамятных в моей жизни. А между тем чистейшая случайность привела ко мне Портера.

Фрэд принимал в это время лекарство с небольшим количеством хлорала. Я дал ему вечером обычную дозу, а затем, так как он, казалось, уснул спокойно, вернулся к себе и лег спать; я сильно нуждался в отдыхе. Я проснулся только в восемь утра, когда меня разбудили дребезжанье ложек на подносе и шаги мисс Вильямс, проходившей мимо моей двери. Она несла больному саго, насчет которого я распорядился с вечера. Я слышал, как она отворила дверь, и в следующее мгновение мое сердце замерло: я услышал отчаянный крик и звон посуды, полетевшей на пол. Секунду спустя она ворвалась в мою комнату с искаженным от ужаса лицом.

— Боже мой! — кричала она. — Он умер!

Я наскоро накинул халат и бросился в соседнюю комнату.

Бедняжка Фрэд лежал бездыханный поперек кровати. Видимо, он встал и тотчас упал навзничь. Лицо его было так мирно и спокойно, что я едва узнавал искаженные, изъеденные болезнью черты вчерашнего пациента.

Опомнившись и собравшись с мыслями, я сообразил, что на мне лежит обязанность уведомить мать.

Она приняла печальную весть с удивительным мужеством. Все трое — генерал, миссис Лафорс и ее дочь — сидели за завтраком, когда я вошел. Они догадались по моему лицу, с каким известием я пришел, и с женским отсутствием себялюбия, забывая о собственном горе, думали только о потрясении и беспокойстве, которые достались на мою долю. Так что не я утешал, а меня утешали. Мы проговорили около часа, и я объяснил, — это, надеюсь,

было ясно и без объяснений — что так как бедняга не мог дать мне никаких указаний насчет своего состояния, то мне трудно было определить степень опасности. Нет сомнения, что падение температуры и успокоение, в котором и я и Портер усматривали благоприятные симптомы, были в действительности началом конца.

Не вдаваясь в подробности, скажу, что я взял на себя исполнение всех формальностей относительно удостоверения смерти и погребения. Большую помощь оказал мне при этом старик Уайтголл, и только в этот кошмарный день я мог вполне оценить, какой добрейший и деликатный человек скрывался в нем под оболочкой легкомыслия и цинизма, которую он так часто напускал на себя.

Похороны состоялись на другой день; гроб провожали только генерал Уэнкрайт, Уайтголл и я. Это происходило в восемь утра, а к десяти мы вернулись на Оклей-Виллу. Дюжий человек с большими усами дожидался нас у дверей.

— Не вы ли доктор Монро, сэр? — спросил он.

— Я.

— Я агент сыскной полиции. Мне поручено навести справки относительно смерти молодого человека, случившейся в вашем доме.

Я остолбенел. Если внешний вид указывает преступника, то меня, конечно, можно было принять за злодея. Это было так неожиданно. Впрочем, я тотчас оправился.

— Войдите, пожалуйста! — сказал я. — Все справки, которые я могу доставить, к вашим услугам. Имеете ли вы что-нибудь против присутствия моего друга, капитана Уайтголла?

— Решительно ничего. — Итак, мы вошли, в сопровождении этой зловещей фигуры.

Оказалось, впрочем, что он был человек с тактом и с любезными манерами.

— Конечно, доктор Монро, — сказал он, — вы слишком хорошо известны в городе, чтобы кому-нибудь могло прийти в голову заподозрить вас. Но дело в том, что сегодня утром получено анонимное письмо, в котором говорится, что молодой человек умер вчера, погребен сегодня в неурочный час, при подозрительных обстоятельствах.

— Он умер третьего дня. Погребен в восемь часов утра, — пояснил я; а затем рассказал всю историю с самого начала. Агент слушал внимательно, и сделал две-три отметки в своей книжке.

— Кто подписал удостоверение? — спросил он.

— Я.

Он слегка приподнял брови.

— Значит, нет никого, кто мог бы подтвердить ваше объяснение? — сказал он.

— О, есть: доктор Портер видел его вечером накануне смерти. Ему известен весь ход болезни.

Агент захлопнул свою записную книжку.

— Это все, доктор Монро, — сказал он. — Конечно, я обязан посетить доктора Портера, этого требует форма, но если его мнение сходится с вашим, то мне останется только извиниться в моем посещении.

— Тут есть еще одна вещь, мистер агент, сэр, — вмешался Уайтголл пылко. — Я не богатый человек, сэр, я только шкипер вооруженного транспорта на половинной пенсии, — но, сэр, я насыпал бы эту шапку долларами тому, кто узнал бы имя мерзавца, написавшего анонимное письмо, сэр. Да, — сэр, вот этим делом вам стоило бы заняться.

Так кончилась эта скверная история, Бerti. Но от каких пустяков зависит наша судьба! Не загляни ко мне Портер в этот вечер, по всей вероятности труп был бы отрыт для исследований. В нем обнаружили бы присутствие хлорала; со смертью молодого человека действительно были связаны известные денежные интересы — опытный крючкотвор может много сделать из такой комбинации. И во всяком случае, малейшее подозрение развеяло бы мою практику.

А вы, действительно предпринимаете путешествие? Ну, я не буду писать до вашего возвращения, а тогда, надеюсь, удастся сообщить что-нибудь более веселое.

Письмо четырнадцатое

Оклей-Вилла I. Бирчеспуль, 4 ноября 1884 г.

Дорогой друг! Во всех ваших Штатах не найдется человека счастливее меня. Что бы вы думали, имеется теперь в моем кабинете? Письменный стол? Книжный шкаф? Но вы уже угадали мой секрет. Она сидит в моем большом кресле, и она — самая лучшая, самая милая, самая кроткая женщина в Англии.

Да, я женился шесть месяцев тому назад — по календарю шесть, хотя они показались мне неделями. Конечно я должен был послать вам карточки, но я знал, что вы еще не вернулись из путешествия.

Ну, я уверен, что вы, с проникательностью давно женатого человека, уже угадали, кто моя жена. Мы, положительно, в силу какого-то непреодолимого инстинкта, знаем больше о нашем будущем, чем нам самим кажется. Так, когда я впервые увидел Винни Лафорс, в вагоне, прежде чем я заговорил с ней или узнал ее имя, я почувствовал к ней какую-то непостижимую симпатию и участие. Случалось ли что-нибудь подобное в вашей жизни? Весьма естественно, что смерть бедного Фрэда Лафорса сблизил меня с его семьей. Я часто навещал их, и мы часто предпринимали вместе маленькие экскурсии. Затем приехала ко мне погостить матушка: ее присутствие дало мне возможность отплатить гостеприимством за гостеприимство Лафорс, и мы сблизились еще теснее.

Я никогда не напоминал им о нашей встрече. Но однажды вечером зашел разговор о ясновидении, и миссис Лафорс выразила решительное сомнение в существовании такой способности. Я попросил у нее кольцо и, приложив его к своему лбу, заявил, что вижу ее прошлое.

— Я вижу вас в железнодорожном вагоне, — говорил я. — На вас шляпка с красным пером. Мисс Лафорс одета в темное. Подле вас какой-то молодой человек. Он такой грубиян, что называет вашу дочь Винни, не будучи даже...

— О, мама! — воскликнула она. — Разумеется, это он! Его лицо все время казалось мне знакомым, но я не могла вспомнить, где мы встречались...

Наконец наступило время, когда они должны были уехать из Бирчеспуля, и мы с матушкой зашли к ним накануне отъезда вечером проститься. Винни и я остались на минуту вдвоем.

— Когда же вы думаете вернуться в Бирчеспуль? — спросил я.

— Мама сама не знает.

— Вернитесь поскорей и будьте моей женой.

Весь вечер я обдумывал, как бы мне лучше выразить мои чувства и как прекрасно можно их выразить, — и вот что я брякнул в результате! Но может быть чувство, наполнявшее мое сердце, сумело обнаружиться и в этих неловких словах. Судьей могла быть только она, и она была этого мнения.

Обычное время обручения — полгода, но мы сократили его до четырех месяцев. Мой доход к этому времени достиг двухсот семидесяти фунтов, у Винни оказалось сто фунтов в год. Это обстоятельство ни на йоту не увеличило моей любви к ней, но было бы нелепо говорить, что я был недоволен им.

Бедный Уайтголл явился утром в день свадьбы. Он шатался под тяжестью прекрасного японского туалетного прибора. Я пригласил его в церковь, и старик блистал в белом жилете и шелковом галстуке.

— Вы меня простите, доктор Монро, сэр, — сказал он, — если я скажу, что вы — счастливый малый. Вы только руку засунули и поймали угря, — это и слепой увидит. А я нырял три раза и всякий раз вытаскивал змею. Будь при мне хорошая женщина, доктор Монро, сэр, я не был бы теперь никуда не годным шкипером вооруженного транспорта на

половинной пенсии.

— Я думал, что вы были женаты два раза, капитан.

— Три раза, сэр. Двух схоронил. Третья живет в Брюсселе. Да, я буду в церкви, доктор Монро, сэр; и вы можете быть уверены, что там не будет никого, кто бы искреннее моего желал вам счастья.

Мы провели несколько недель на острове Мэн, а затем вернулись на Оклей-Виллу; мисс Вильямс ждала нас с целой серией забавных легенд о толпах пациентов, загромождавших улицу в мое отсутствие. Моя практика действительно возросла, и в течение шести последних месяцев, я, не будучи завален работой, имел достаточно дела. Мои пациенты — бедный народ и я работаю усердно за малую плату; но я продолжаю заниматься, посещать госпитали, приобретать знания, чтобы быть готовым и для более широкого поприща, если оно откроется.

С год тому назад я получил известие о Колингворте от Смитона, нашего товарища по университету, который навестил его проездом через Бреджилд. Сведения были не особенно благоприятными. Практика Колингворта значительно упала. Без сомнения, публика привыкла к его эксцентричности, и они перестали импонировать ей.

Кроме этого упадка практики, я с сожалением узнал об усилившихся проявлениях той странной подозрительности, которая всегда казалась мне самой болезненной чертой Колингворта. По словам Смитона, она приняла теперь форму убеждения, что кто-то умышляет отравить его медью, которое заставляет его принимать самые экстравагантные меры предосторожности. За обедом он сидит, окруженный целой лабораторией химических приборов, реторт, склянок, исследуя образчики каждого кушанья.

Не думал я, что мне придется еще раз увидеть Колингворта, однако судьба свела нас. Однажды, когда я собирался к больным, мальчик подал мне записку. У меня просто дух захватило, когда я увидал знакомый почерк и убедился, что Колингворт в Бирчеспеле. Я позвал Винни, и мы прочли записку вместе.

«Дорогой Монро, — было в ней написано. — Джэмс остановился здесь на несколько дней. Мы уезжаем из Англии. Он был бы рад, в память старых дней, поболтать с вами перед отъездом.

Преданная вам

Гетти Колингворт »

Я не хотел идти, но Винни стояла за мир и прощение. Полчаса спустя я входил к нему с очень смешанным чувством, но в общем дружественным. Я старался уверить себя, что его поступок со мной был патологический случай, — результат расстроенного мозга. Если бы сумасшедший ударил меня, не мог же бы я сердиться на него.

Если Колингворт все еще сохранял злобу против меня, то скрывал ее удивительно. Но я по опыту знал, что эта веселая, открытая манера громогласного Джон Булля может скрывать многое. Жена его была более откровенна; и я мог прочесть в ее сжатых губах и холодных серых глазах, что она не забыла о старой ссоре. Колингворт мало изменился и казался таким же сангвиническим и оживленным, как всегда. Он сообщил мне, что уезжает в Южную Америку.

— Вы, стало быть, совсем покидаете Бреджилд? — спросил я.

— Провинциальная дыра, дружище! Что за радость в деревенской практике с какими-нибудь несчастными тремя тысячами фунтов в год для человека, которому нужен простор. Я теперь принялся за глаза, дружище. Человек жалеет полкроны на лечение груди или горла, но за глаз отдаст последний доллар. Есть деньги и в ушах, но глаз — золотой рудник.

— Как! — сказал я. — В Южной Америке?

— Именно в Южной Америке. — крикнул он, расхаживая быстрыми шагами по комнате. — Слушайте, парень! Вот вам целый материк, от экватора до полярных льдов, и на нем ни одного человека, который мог бы вылечить астигматизм. Что они знают о

современной хирургии глаза? Здесь, в Англии, провинция ничего не знает о ней, а что же говорить о Бразилии. Вы только подумайте: целый материк усеян миллионерами, поджидающими окулиста. А, Монро, что? Черт побери, когда я возвращусь, то куплю весь Бреджилд и подарю его на водку лакею.

— Вы думаете основаться в каком-нибудь большом городе?

— В городе? На кой мне черт город, я хочу выжать весь материк! Я буду обрабатывать город за городом. Я посылаю агента в ближайший — оповестить, что я буду. «Здесь исцеление, — говорит он, — незачем ехать в Европу. Сама Европа является к вам. Косоглазие, бельмы — словом, все, что вам угодно; для великого синьора Колингворта нет затруднений». И вот они сбегаются толпами, а затем являюсь я и собираю денежки. Вот мой багаж! — Он указал на два больших чемодана в углу. — Это стекла, дружище, выпуклые и вогнутые, сотни стекол. Я осматриваю глаз, поправляю его тут же — и кончен бал. Затем нанимаю пароход и возвращаюсь домой, если не предпочту купить какое-нибудь из тамошних государств.

— Но вы не говорите по-испански, — сказал я.

— Разве нужен испанский язык, чтобы воткнуть ланцет в глаз человека. Все, что мне потребуется знать, это: «Деньги на стол — в кредит не лечу». Это достаточно испанисто для меня.

Мы расстались очень дружелюбно, хотя, думается, обе стороны не высказались вполне. Он должен иметь успех. Этого человека ничто не сокрушит. Я желаю ему счастья, а все-таки не доверяю ему в глубине души и рад, что нас разделяет Атлантический океан.

Да, мой дорогой Берги, передо мной открывается счастливое и спокойное, хотя не слишком завидное для честолюбия, поприще. Я предвижу расширение практики, разрастающийся круг друзей, участие в местных общественных делах; под старость, быть может, депутатство или, по крайней мере, место в муниципальном совете. Даже на такой скромной арене можно кое-что сделать, напрягая все силы в пользу широты взглядов, терпимости, милосердия, умеренности, мира и гуманного отношения к людям и животным. Не все мы можем наносить сильные удары, но и маленькие что-нибудь да значат.

Ваш неизменно

Дж. Старк Монро.

* * * * *

(Это последнее письмо, которое мне было суждено получить от моего бедного друга. В нынешнем (1884) году он поехал на Рождество к своим, и погиб при столкновении поездов у Ситтингфлита. Доктор и миссис Монро были единственные пассажиры в ближайшем к локомотиву вагоне, и оба были убиты на месте. Он и его жена всегда хотели умереть одновременно; и тот, кто их знал, не будет жалеть, что кто-либо из них не остался оплакивать другого. Он застраховал свою жизнь на тысячу сто фунтов. Эта сумма оказалась достаточной для поддержки его семьи, — что, ввиду болезни отца, была единственным земным делом, которое могло бы его тревожить).